

НАДИР АГАСИЕВ

ОТРАЖЕНИЯ-2

В преломленном времени ракурсе

*«Это было в те дни, когда я бродил
голодный по Христиании, городу,
который навсегда накладывает
на человека свою печать...»*

Кнут ГАМСУН, роман «ГОЛОД»

Мне настолько нравится роман «Голод», что у меня на долгие годы остался соблазн начать так же, как и Кнут Гамсун: «Это было в те дни...» Кнуту Гамсуну я верил, раз уж он написал: «это было...» – значит, действительно было. Но начать так же у меня не получалось, ничто в моей жизни под такое начало не укладывалось. И вот теперь, вспомнив «постулат» Андрея Битова, которому я тоже верю: «Хорошо придумывать то, что было, и невозможно сочинить то, чего не было...», я намеренно, подражая Гамсуну, написал:

...Это сложилось в те дни, когда какое-то время мы с женой жили в Чехии, в небольшом курортном городке на Эльбе – Подебрадах, в городе, по которому я подолгу «бродил» бодрым шагом, выбивая из крови сахар, и который назвал про себя городом «Доброго Дня».

И именно в этом Добром городе я встретил однажды на рассвете женщину с пучком соломы в руках, предложившую мне выпить пива.

Прочитал вслух, прислушался. Вот только бы верилось, что женщина с пучком соломы была. А она действительно была. Всех называла Фиби, наверное, и меня, и маленькую противную собачку породы такса, которую прямо-таки выхватила из-под носа обнюхивающей ее громадной псины, уложила себе на колени во дворе кругло-суточно действующего пивного бара и, приговаривая «Фиби, Фиби, Фибушка», принялась восторженно массировать брюхо животины. Ушла в это дело, оставив общение со мной на потом.

«Фибушка! Уж не русская ли? – обрадовался я. – Оборотилась в чешку, но русская, как же иначе».

И такса казалась мне узнаваемой, у одного моего знакомого была точно такая же противная собачонка, которая регулярно, чуть ли не ежеквартально, приносила ему щенят – неплохую надбавку к пенсии. Слегка поднатужившись, эта злючка кривоногая выдавала потомство – по пять-шесть кривоногих таксят с установленной на продажу таксой.

«Неужто отпрыск «легких» потуг злобной таксы? До Чехии добрались, до Подебрад... И чего это таксы преследуют меня?»

У друга моего детства Генки была собака схожей масти по кличке Дамка. Она была не такой противной, мы даже пытались снять ее в

нашем любительском фильме. До Дамки у Генки была еще одна собака, по кличке Шарик, из «дворян», самой распространенной породы. Мы хоронили Шарика с Генкой, закопали под горой, и именно тогда, у бугорка Шарика, я произнес свой первый тост: «Прощай, Шарик, ты был хорошей собакой!» – сказал я, выпив первый раз в жизни браги. В фильме Генкина такса должна была переворачивать страницы титров. Но это у нее никак не получалось. Мы злились, я крыл ее чуть ли не матом, хотя был виноват я, а не Дамка.

Женщину эту, но без пучка соломы, и солону пучком без женщины мы с женой видели и раньше. Женщина встретилась нам на вокзале. Она стояла на перроне, держа за запястье девочку лет одиннадцати-двенадцати. Ждала, как и мы, поезд на Колин. Меня сразу в ней что-то насторожило, может, то, что она как-то нервно ожидала, а может, и то, что девочку держала за запястье, а не за ладонь. Будто схватила, удерживает насильно.

Девочка рассеянно оглядывалась по сторонам, поймав мой взгляд, вскинула брови. Ей нужен был зритель. Принялась играть в классики. Мы нарисовали с ней мысленно на бетоне классики, она – свои, я – свои. Она играла, я смотрел. В нарисованных мною классиках она доходила до четвертого класса, настолько должны были позволять их вытянутые руки, возвращалась обратно на исходную позицию.

Я смотрел на женщину, на девочку, на часы, висящие над платформой. До поезда на Колин оставалось еще три минуты. Он придет вовремя, точно по расписанию.

В Подебрадах в минуты тягостной скуки я, бывало, забредал на вокзал соприкоснуться с великим, посмотреть «Прибытие Поезда».

Эти величественные двухэтажные поезда-красавцы «не пугали», прибывали на вокзал ожидаемыми гостями. Отбив, оставляли после себя не сразу заполняющуюся пустоту. Вот бы суметь увидеть эту пустоту, отобразить, снять фильм в беззвучном, немом варианте. «Отбытие Поезда». Посвятить какой-нибудь годовщине первого фильма «Прибытие Поезда». Поезд отходит, и все замирает, останавливается на полуслове, в полушаге. Жизнь продолжается в другом измерении, в 24 кадра в секунду ее не отобразить.

Каждый раз в ожидании поезда что-то противное во мне жаждало уличить его в опоздании. Ну что вы все со своим порядком, можно разок и нарушить. Жить по расписанию – это не то, что по писанию. Но поезда не опаздывали. И автобусы в Подебрадах всегда приходили вовремя.

Я смотрел на женщину с девочкой, на часы на платформе, на все в округе, впитывал в себя, собираясь везти с собой этот «груз», авось, понадобится. Лишним ничего не бывает, даже собственные ощущения, если уж они возникли, значит, пригодятся.

«Запечатлел, словно наколку оставил: женщина в легком цветастом платье, тело много моложе лица».

Я, конечно, мог допустить, что ножки у старушки все еще были ножками, но чтобы при стареющем лице тело все еще оставалось юным... Женщина с ножками и с личиком старческим...

– Платье вон на той женщине из какой ткани? – спросил я у жены. На чужбине говорить по-русски или по-азербайджански – одно удовольствие, можно не опасаться, что поймут. Хотя однажды в одном из универмагов поняли.

– Ой, вы говорите по-русски? – удивилась девочка, поражаясь тому, какой я со-

всем не русский.

– Да, это мой любимый язык, – сказал я больше для ее мамы, чем для нее самой, – русский и еще французский, та chere la fille, дорогая моя девочка...

... – Из шифона, – ответила жена.

«Конечно, из шифона! – звучало внутри меня, – ... из чего же еще», – но выйти, пробиться из меня не могло, застревало внутри, лишь глаза и улыбка выразили согласие. «Правда?! Я думал из крепдешина, но какое это имеет значение, когда оно из шифона. Крепдешин – прошлое, старье, правда?»

Мама моя когда-то давно, еще в моем детстве, подшивала платье из крепдешина у портнихи Тамары. Она примеряла платье в комнате, я ждал ее в саду портнихи. За оградой был детский дом. Сквозь частокол забора мелькала девочка в школьной форме, играющая в классики. Там, в детском доме, жил Гера, задиристый пацан. Мы с ним однажды прогуливали урок. Он дразнил меня:

– Влетит тебе от маменьки, маменькин сыночек.

У Геры мамы не было. У него вообще никого не было. Он жил на свете один, детдомовец.

В день, когда хоронили маму, я вдруг почему-то вспомнил Геру: «Влетит от маменьки!...»

«Ничего уже, Гера, мне не будет...»

... – Конечно, из шифона, дорогая! Я думал, что из крепдешина, но его, наверное, уже не производят! – вырвалось из меня.

Тогда я еще не знал, что женщина со стареющим лицом и молодым телом через несколько дней встретится мне ранним утром с пучком соломы в руках, предложит выпить с ней пива. Прямо так и заявит: «Айда, Фиби, пиво пить!» И через день все соединится воедино, в тщательно подобранную цепочку. Даже пучок соломы найдет объяснение, став отдельным звеном цепи.

...Солому пучком я никогда не видел. А тут вдруг увидел ее, вдетую в ручку входной двери дома, от которого начинался спуск по мощенной булыжником улице. Машины по ней проезжали шурша.

И у нас когда-то был мощный булыжником участок, он тянулся от филармонии к морю, я помнил это шуршание, мне нравилось слушать его, когда друг отца целую неделю возил меня на своей новенькой «Волге» в глазную больницу. Я, закрыв глаза, слушал шуршание дороги, словно быстрюю речку в селении «Дашча» в Габале, куда отправил нас с мамой и братьями на отдых отец. Солома в селе имелась. Хранилась целыми стогами. Но не торчала пучком ни в одной калитке села.

– Смотри, – показал я жене, – солому к двери пристроили. – Что бы это значило?

У меня уже готово было объяснение: кто-то пришел в гости с букетом соломы, не застал дома, вложил солому в ручку двери. «Кто ходит с соломой по гостям, тот поступает мудро! И еще экономно. Хотя нет, непонятно, как... »

– Это рапс, – сказала жена. В растениях она знала толк. И пока пучок соломы на двери не превратился в пучок рапса, я решил его спасать. Солома все же колоритнее будет.

«Но пучок рапса, – решительно заявил я внутри себя, – побудет соломой. Я настаиваю, как открыватель пучка на двери. Ты не против? Солома понятнее, чем какой-то твой рапс».

Жена моя внутри меня не возражала...

1

... День, когда лучше бы я ее и не встречал, начался, как и все – с увертюры «Доброго Дня». Она звучала во мне в сопровождении одной лишь фразы: «Добрый Дэ-э-эн»...

Я шел по Подебрадскому парку к площади перед замком короля Йиржи Подебрадского, люди, шедшие мне навстречу, здоровались. «Добрый день!» – говорили они по-чешки. И это совсем не то, что по-русски или на каком-то другом славянском языке. Там было более яркое пожелание добра, более мелодичное, оно звенящим «день» зависало в воздухе над аурой парка, постепенно поглощаясь им. Слушалось с упоением.

Вспоминался фильм из детства «Сказки венского леса», где Штраус мчится в карете с женщиной по лесному тракту, ветерок сдувает с плеч женщины легкий шелковый шарфик, он остается на ветке, птицы поют, навевая композитору мелодию «Венского вальса»: «Там, трам, трам па-па...» – и по мере того, как карета удаляется от шарфика, у композитора складывается мелодия. Я смотрел в детстве этот фильм по телевизору, музыки в щебетании птиц не слышал, больше был озабочен шарфом – изорвет его ветер в клочья.

Я шел быстрым шагом по парку, слушал звенящее «дэ-э-эн», пытался сложить мелодию утра. Подебрадского утра.

– Нет, Ридан, ты не Штраус! Ты другой! – говорил я, насмехаясь над собой.

Риданом я называл себя в море, когда долгими днями оставался в бующей стихии, предоставленный самому себе, развлекал себя беседами, словно рассказы писал. «Ридан» – это мое имя, «Надир», наоборот. И катер с похожим названием – «РЕДАН» – был у нас в управлении. Скромной. Начальство на нем в море выходило. Но, бывало, и мы возвращались на «РЕДАН» с вахты. Глядя, как «РЕДАН» красиво шел по волнам, я гордился, он был моим. Мы созвучны: РИДАН и РЕДАН. Да он почти моим именем назван! Правда, «Надир» переводилось, как «нечто редчайшее, уникальное, не имеющее аналогов». А Редан – это всего лишь нарост по кромке борта корабля для сдерживания брызг волн. И все же, пока я выходил в море, считал катер «РЕДАН» чуть ли не поворотом своим. Ридан был моей собственной изнанкой, значит, был ближе к моей душе. Сердце замирало, когда этот катер моего имени, с допустимой для меня грамматической ошибкой, шел на скорости прямо на посадочную площадку, резко сбросив скорость, разворачивался, лихо причаливал бортом.

Когда море «выплеснуло» меня на берег, распрощалось со мною – не молод был я уже для морской работы, – списали и «РЕДАН». На причале его не было. Я покидал остров по намытой дамбе и слева от острова, на мели, вдруг увидел «РЕДАН». На сером февральском морском ландшафте он выделялся блеклым голубоватым цветом. Посаженный на мель, он покачивался на волнах. На его редане, свесив ноги, сидели рыбаки. Мы с «РЕДАН» были списаны.

«Да успокойся ты, господин Ридан-Надир, ну, не музыкант ты, нет слуха! Ты кто такой есть, что «чешскую» музыку хочешь писать? На него посмотри, мелодию «Доброго Дня» напишет он! Ее, наверное, уже написал Дворжак! У тебя нет слуха, ты вообще глух, дорогой».

О Дворжаке Ридан впервые услышал еще юнцом от дяди своего, Махмуда, или, как его все звали, Миши.

На кассете звучали скрипки, кассету с кассетным магнитофон привезла тетя Ридана, Аделя, из Алжира, где она прожила несколько лет со своим мужем Салехом и сыном Фаиком.

– Ты не знаешь, кто это написал? – спросил Ридан у своего дяди. Ждал ответа: кого назовет дядя, тот для него и будет автором произведения. Ридан даже не чувствовал, как неуместен был его вопрос. Дядя молчал, сидел в дыму астматической папиросы, закрыв глаза. Задышался, но приступ астмы проходил, откашлялся, ему было совсем не до музыки.

– Дворжак, кажется.

Для Ридана имя было свежим, не из обихода привычных имен.

– Он чех, – дядя был лаконичен, приступ астмы опускался в глубину его легких.

И Ридан запомнил. Хороший композитор у чехов. С самой юности помнил, что был такой композитор – Дворжак. Вспомнил о нем, когда Махмуд умер. Он возвращался домой в поезде Москва–Баку. Умер в поезде. Приступ астмы, наверное, задышался, или сердце не выдержало надрывного кашля. Говорили, кашлял долго. Отвлек бы кто из попутчиков, заговорил бы о чем-нибудь, о музыке, о Дворжаке, об автомобилях.

После скоропостижной смерти матери Ридан искренне полагал, что скоропостижную смерть можно заболтать, если заранее почувствовать ее. «Я бы всем своим скоропостижно скончавшимся близким безудержно задавал вопросы, – сказал себе Ридан. – Заставил бы думать о насущном, настроил бы организм на жизнь. Главное – знать, что говорить, и уметь заинтересовать».

В море, находясь в одиночестве, когда не с кем было поговорить, Ридан все задавал себе вопросы, и теперь думал – спасал себя.

Возможно, и тогда, когда Махмуд назвал Дворжака, Ридан своим обязательным вопросом запустил механизм жизни дяди на новый виток.

«Замкнутость на себе ведет к скоропостижной смерти!» – вывел Ридан свой постулат, оглядывая море. Штормило, ветер еще не стих. Значит, и завтра не будет смены, завтра откат, волны будут успокаиваться внизу, под водой. Предстоит еще два дня одиночества, не будет дома, жены, детей.

Мне хотелось ответить также: «Добрый Дэ-э-эн», растянув мягко «н», но я боялся что-то нарушить в этой мелодии, пустить петуха. «Ты глух, нет у тебя слуха». Но слух у меня был, только внутренний, запряженный в душу, выбраться, не искажившись, не мог. Не получалось у меня также мелодично, достойно ответить на пожелания «Доброго Дня», я лишь кивал в знак согласия: «Да, господа, – мысленно говорил я, – день и вправду обещает быть добрым!»

Я шел быстрым шагом, выгоняя из себя сахар, навстречу потоку, спешащему ранним утром на привокзальную площадь на поезда и автобусы, слушал пожелания доброго дня и специально подбирал свой маршрут так, чтобы попасть в гущу потока. Пожелания доброго дня относились именно ко мне, потому как я шел навстречу толпе, нас, шедших в этом направлении, было немного, желали доброго дня именно нам, попутчику ведь не всегда станут говорить: «Добрый Дэ-э-эн!»

Попутчик идет себе да и идет, чего его отвлекать пожеланиями.

Эта мелодия в исполнении подебрадчан являлась увертюрой к каждому дню, прожитому в Чехии, звучала во мне протяжным напевом, поднимала над самим собой и над толпой. «Увертюра», звучавшая во мне, стояла того, чтобы проснуться до рассвета. Она включала в себя и момент пробуждения, когда я, крадучись, дабы не будить жену, выходил из номера гостиницы. В этом месте звучание должно быть вкрадчивым, кротким, если, конечно, я сумею когда-нибудь его передать. Оно включало в себя и то, что я смотрел на электронные часы у входа в гостиницу. Ритм чуточку меняется, вздрагивает. Шесть утра! Успокаивается. «Утро красит нежным светом...» Также включало и то, что солнца еще не было, оно вот-вот появится из-за памятника Йиржи Подебрадскому, первому королю чехов. И через некоторое время будет освещать и памятник Томаша Масарика – первого президента Чехии. Я видел символику в том, что солнце поднималось за памятником первому королю Чехии. Не самых «высоких» кровей, по сути, простолюдин, волевой и храбрый, умеющий всех примирить, Йиржи, встав на престол, пообещал не передавать трон по наследству.

2

Женщину с пучком соломы я встретил недалеко от памятника. Солнце уже висело над памятником, и вся площадь, мощенная булыжником, светилась под его лучами.

Она стояла будто бы в раздумье: переходить ли площадь? Была молода телом и старовата лицом, тщательно скрытыми морщинами, явной печатью тревожащей ее старости. Молодость тела словно ретушировала, сглаживала старость ее лица.

Я прошел мимо, не понял, что меня вдруг остановило, заставило оглянуться: слово непонятное «Фиби» или яркий, лучистый взгляд ее старушечьих глаз, пролившийся явно откуда-то из моей молодости.

Оглянулся, узнал. Женщина с вокзала.

«Ба-хо, таныш сифятляр, знакомые лица», – подумал я на азербайджанский манер и несколько развязно. – «Добрый Дэ-э-эн» – чешскую мелодию внутри себя я не испортил.

Она остановила меня взглядом, словно набросив аркан, притянула. Мне казалось, что я ушел от нее достаточно далеко, повернулся – она рядом, всего лишь в двух шагах. Взгляд ее прожег и, тысячу раз взвесив меня, потух.

– Фиби, подсоби женщине туфельки снять!

Услышал только «Фиби», остальное само собой подразумевалось. Положив мне руку на плечо, оперлась, наклонилась, другой рукой стала снимать с себя туфли на высоком каблуке. Я слышал запах соломы в ее руке на моем плече. Просушенный, набравший солнца, он успел вобрать в себя и немного утренней сырости. И сейчас пучку соломы подошло бы немедленно, но ненадолго стать пучком рапса. Жена права – это рапс. Жена еще спит. Чего ей вставать спозаранку, это у меня сахар в крови, это мне бродить по городу. Ничего предосудительного я не совершаю. Бабе Яге подсобляю. Хотя после того, как она сняла обувь и стояла передо мной хрупкая, босая, ноготки ухожены, накрашены, я не был уверен, что она бабка и что Яга.

– Айда, Фиби, пиво пить!

«Пиво!» – пароль души юности моей был раскрыт. Конечно, пойдем, ради пива мы когда-то давным-давно готовы были даже поехать на зыхский пивоваренный завод, чтобы попить зеленоватого нефилтрованного пива. А сейчас, в Чехии, что, и

пива не попить? Особенно если оно «Козел». «Козел» нравился мне больше остальных сортов. Мне пересказывали рекламный ролик пива «Козел». Толстяк все пьет да пьет, и у козла рога отваливаются, он все хорошеет и хорошеет. Может, даже в девушку превращается, не помню, так ли в ролике, но я бы снял именно так. Но главное, что рога отпадают.

«Девушка-старушка» пошла босая через мощенную булыжником площадь, размахивая теперь уже рапсом в руках и туфлями на шпильках. В такой обуви по булыжнику не пройти. Я шел в паре шагов за ней, позволяя ей вести себя. Сверху на нас смотрел Йиржи Подебрадский на коне. Я подумал, что он за меня немножко беспокоится. Гость, как никак.

Пиво ранним утром; «это было недавно... это было давно...» – лет сорок назад. Каким отвратительным, но все же живительным был глоток уже задохнувшегося пива ранним утром в общаге Литинститута, когда, проснувшись, шарить взглядом по столу в поисках остатков чехословацкого пива «Шарииш». Его вчера еще было навалом. Оглядываешь комнату. Курбан, сокурсник из Дагестана, спит, но он якобы спит, делает вид, а Гришка, наш с Курбаном друг, драматург и театральный актер, спит, этот точно спит. Вчера читал нам свою переработанную пьесу, пиво «Шарииш» привез из ЦДЛ. Курбан лежит тяжело. Ему тоже хочется пива, но он терпит, оставляет нам с Гришкой. Такова его природа, заботится о других. И имя у него такое, Курбан – жертва. Готов жертвовать собою. Я знаю, ему жуть как хочется пива, потому выбираю недопитую бутылку, где пива поменьше. Я тоже не лишен благородных чувств. Лучшее оставляю друзьям. Сделал глоток, серое небо за окном и Останкинская башня возвращают в реальность, говорят о том, что мы в Москве, и только потом, что пьеса Гришке опять не удалась. Не надо Соне бросаться из окна. Начитался трагедий, Катерина, «Луч света в темном царстве». Нет темного царства, Григорий, есть жизнь. Чешское пиво утром! Да это же хорошо!

Оно было хорошо и на Волге, когда мы с моим другом детства Ра-мисом шли по ней на теплоходе «ИЛЬИЧ». «ИЛЬИЧ» шел за «ЛЕНИНЫМ». Так, наверное, было заложено решением в верхах. И во взгляде на Волгу сверху этому тандему не помешал бы еще и третий теплоход – «ВЛАДИМИР». Так красиво они и шли бы: «ЛЕНИН», «ВЛАДИМИР», «ИЛЬИЧ». Но теплохода «ВЛАДИМИР» в те годы не было. Был наш «ИЛЬИЧ», арендуемый для бакинцев бакинским турагентством, и «ЛЕНИН», тоже везший очень хороших людей. «ЛЕНИН» был больше нашего, трехпалубный белый красавец, на нем можно было купить все. Он шел впереди и первым приходил на стоянку, загружался товаром, а когда через пару часов туда пришвартовывался наш, на «ЛЕНИНЕ» уже можно было купить пиво. Я просыпался с лязгом швартовых, спешил за пивом. Утром чешское пиво? Только на «ЛЕНИНЕ»!

Я покупал пиво, и каждый раз вспоминал, как у меня началось с ним. Забрел на станцию на Разина, не сиделось, ушел с занятий в техникуме. Я тысячу раз проходил мимо этого пивного ларька, а тут вдруг остановился. Продавец смотрел на меня и улыбался, искуситель. Он чувствовал, что я сейчас захочу пива, что брожу бесцельно, не нахожу себе места. У

меня все время мысли, что мама умерла. Усики продавца тонкие, с проседью, не мой это человек, пива выпью, но сюда больше ни ногой.

– Пиво свежее?

– Свежее! Налить? Гвардейское или пионерское?

– А это как?

– Гвардейское – до краев!

– Гвардейское, только стакан.

– 11 копеек, – он понимающе улыбнулся, запрограммировал меня на пиво. Я ему больше был не интересен.

Пиво на круизном теплоходе «Ильич» всегда могло быть кстати. Особенно когда они с Рамисом, слегка небритые (бороду решили отпустить), выходили на палубу, разом все охватывая, – и палубу, и крутой зеленый берег в Куйбышеве, и скамейки на пристани. Где-то там должна находиться Элеонора Федоровна, соплячка, чтобы называть ее по отчеству, но она требовала. «Элеонора Федоровна я!»

«Ага, Элеонора с «ЛЕНИНА». Меня в таком случае прошу считать кинорежиссером. Я снял пару фильмов, правда, любительских, на восьмимиллиметровую пленку, но снял ведь».

Конечно, для кинорежиссеров мы с Рамисом тоже были сопляки, хоть и ходили с кинокамерой. Но в перспективе вполне могли ими быть, надо было только очень хотеть.

«Так что, Элочка, все у нас с тобой в перспективе. Ты Федоровной станешь в перспективе, мы режиссерами, Рамис – театра, он играет в народном театре, я – кино... Сниму трактат о твоих пяточках. У нас пиво чешское, айда к нам в каюту, она в четвертом классе, на самом дне, в иллюминатор к нам Волга просится...»

Если тебя еще тянет по утрам пивка попить, ты с перспективой!

Чего я за ней поплелся, мне ли утром пиво пить? Она шла по мостовой походкой легкою. Стопочки годами не натружены, походка легкая, пружинящая, пяточки узкие, как у Элеоноры Федоровны с круизного теплохода «ЛЕНИН» в Куйбышеве. Мне ль за ней идти, за этой «Ягой-Не Ягой».

Она обернулась вполоборота, бросила взгляд на меня, как пристегнула. Я пошел за ней живее, без колебаний. Догадался, куда она ведет меня. Не далее, как вчера, под вечер, мы заходили в этот бар с женой. Широленные, как в гараже, ворота позволяли бару соединиться с двором, тянувшимся до самой Эльбы. Во дворе стояли дубовые обшарпанные столы, оставшиеся, по всей видимости, еще со времен Подебрадского. Двор заканчивался обрывом, где внизу шуршала Эльба. Самой реки не было видно. О том, что Эльба была рядом, говорили мачты да капитанские рубки небольших суденышек, изредка проходящих вдоль бара. Мы пришли с женой сюда целенаправленно, красного пивка с икрой попить. Красным пивом нас заинтриговала супружеская пара из Израиля. «Ой, как там интересно, пиво красное с раками и икрой, молодежь, песни!»

Это был, скорее, трактир, чем бар. Молодежь действительно была, пиво на столы подавалось вместе с подставками «КОЗЕЛ». Что было беречь столы подставками под кружки, если они не новы? Подставки здесь были явно лишними. Впрочем, таковы, видимо, были требования бренда. Красным в бокалах оказался сладкий напиток. Так что красного пива мы не увидели.

Во всем баре и во дворе звучало непонятно откуда лившееся роковое пение. «Па, пара, па, пара, парам па, парам па». Я именно так и слышал, и мелодию не улавливал. Зато сразу же почувствовал реку, когда левым бортом вдоль забора прошло большое судно. Эльба вспомнилась песней: «Кто вас на Эльбе обнимал...» Я обнял жену. «Я вас на Эльбе обнимал!» – ответил песне, невпопад для жены. «Качуаем отсюда, – предложил я жене на блатной вариант, карачухурское детство со мной не прощалось, – нет здесь красного пива. А икра – она и у нас есть». Лучшая ведь в мире икра наша, каспийская, если не сказать, что азербайджанская.

...Она выбрала столик во дворе, у входа в зал. Лихо забросила под стол туфли, схватила за шкурку таксу. «Фи-и-би!» Какая-то мелодичность в этом восклицании была, но в мою увертюру не вписывалась. Пучок соломы она положила на стол, при этом озорно стрельнула в меня взглядом.

«Чё те надобно, старче?» – я уже решил для себя, что все это мне не нравится и что-то менять в своем решении не хотелось. Вспомнилась наша с женой знакомая Наталья. Она в Подебрадах руководила экскурсионной фирмой.

«В Чехии еще можно встретить в лесах ведьм, неискорененных средневековьем! Ведьмы – они еще есть здесь!» Не думаю, что Наталья нас пугала, просто во всем исполняла свой профессиональный долг экскурсовода, рассказывала, что знает и чему верит.

«Нет, Наташа, великолепная ты наша, какие еще ведьмы. Не ведьма она, милая девушка-старушка. Лицо все милее и милее, только желтизну убрать». Я осмотрелся: там, дальше, ближе к реке, за столиком сидела женщина с девочкой-школьницей. «На Наташу очень похожа, блондинка. С дочерью, наверное».

... – Какое пиво? Темное, светлое? – официант молод и строен, с козлиной бородкой, вариация рекламы на тему пива «Козел». Голоса его не было слышно, и слова не произнес. Все и так было понятно.

– Светлое!

– Русский? – спросил молча официант, имея в виду, что советский. О, как я ему был неинтересен! Как он был брезглив!

– Можно и так сказать, азербайджанец, – промолчал я. Захочет, услышит. Я не могу сказать, что был охвачен буйством гнева, но какое-то сопротивление поднималось во мне, когда сталкивался я со снобистским отношением к себе и ко всему тому, чем мы жили когда-то. Вспоминались уроки моего брата по каратэ. Я делал глубокий вдох, задерживал дыхание, медленно выпускал воздух, разгружался. – Да, вот что, сам козел! – Мне стало смешно, конечно, козел. И ничего не обзываюсь. Вырядился в козла, кто же ты тогда еще! Чяпиш (козленок), не-е, не козленок, козел ты и есть козел, озюда, екясиннян (к тому же натуральный). Я перешел на молчание на азербайджанском.

Женщина хотя и была увлечена собакой, но и меня не упускала из виду, периферическим взглядом посматривала на меня и на пучок соломы в центре стола.

«Что я здесь делаю? Какое пиво с утра? Ведь нет литинститутского похмелья и не будет уже никогда. Какой еще теплоход «ЛЕНИН»? Уходить надо, пока ты не стал ФИБИ... Испугался? Ну, старушка непонятная, ну, официант с бородкой, и что? Теперь пиво по утрам не пить?!»

Такое общение то ли полуутробное с междометиями, то ли полутелепатическое, у Ридана Веисаги было дважды. С одним немым мужиком из Эстонии. Правда, давно это было, когда был еще молодым. Потом еще,

но уже гораздо позже, когда Ридан сам был мужем, отцом семейства, – с соседским мальчишкой немым, но выучившимся понимать и объясняться...

...С глухонемым эстонцем, мужиком крестьянского вида, Ридан схлестнулся в пионерском лагере. Из-за девушки, старшей пионервожатой. Вейсаге Ридану она нравилась, но только с наступлением темноты, когда «над лагерем ночь опускалась». Красивая по всем параметрам девушка, но в светлое время суток, как только из-за инжирных посадок дальних дачных садов поднималось солнце, Вейсага напрочь забывал про старшую пионервожатую. Видеть ее не хотел, востроглазая, востроносая, коленки острые торчат.

Глухонемому эстонцу, верзиле, числившемуся в лагере то ли пионером, то ли садовником, ездившему на байке, она нравилась во все времена суток. Он мог издали часами смотреть на нее, как она ходила по территории лагеря, из отряда в отряд. К малышне, в отряд Вейсаги, попеть песню «Октябрята смелые спросили напрямик» приходила охотнее всего. «В-ина, улыбнись! В-ина, улыбнись!» – кричали хором малыши Ридана Вейсаги по просьбе Вейсаги, и старшая пионервожатая, заливаясь смехом, спев с малышами песню, неохотно уходила.

– Мы пока еще не пионеры, – кричал ей вдогонку Вейсага, – октябрята мы, старшие пионервожатые не наш уровень.

«Над лагерем ночь опустилась, лагерю спать пора. Всем, всем спокойной ночи, а мне приятного сна!» Зловеще звучала эта лагерная речёвка в самом деле в наступившей темноте. Настораживала. Старшая пионервожатая вместе с начальницей пионерлагеря стояли на трибуне на вечерней линейке. Эту лагерную речёвку они придумали вместе. Получилось весьма впечатляюще. С этой лагерной мантры у Вейсаги начинал побуждаться интерес. Он смотрел на старшую пионервожатую. «Ну, острый носик, и что!?» Только бы начальница...Э-ра С-вна, ведущий специалист интерната для глухонемых, умело руководила детьми. Не один год на летний период устраивалась начальником в пионерский лагерь «Ласточка», где обильный песок был очень полезен для ее больных ног. И эстонца, которого обучала понимать и говорить, взяла с собой на лето. Что бедолаге было тратиться на дорогу, уезжать? Проведет лето в лагере, зато к зиме станет говорить. Если бы она с самого начала знала, как не понравился Эстонцу Вейсага, она не стала бы рисковать, брать Ридана на работу.

«Над лагерем ночь опустилась... – кричала в рупор старшая пионервожатая, как запеваля, лагерь подхватывал, – лагерю спать пора...» Мантра действовала. Ридан все больше и больше проникался тягой к товарищу В-ине. Старшей пионервожатой он ее уже не считал. Он терпеливо ждал, когда лагерь уляжется спать, они пойдут со старшой кататься на качелях. Потом он, подняв старшую на руки, побежит с ней по песку в футбольные ворота лагерного стадиона. Забежит с нею в ворота, закричит ей в самое ухо шепотом «Гол!»

Они будут лежать на песке, сверху, через сетку футбольных ворот, над ними будет высокое звездное небо в клеточку. В Мардакане небо всегда с огромными звездами. Потом украдкой, по очереди, пойдут обмыться в

крохотную душевую кабинку. И от избытка чувств Ридану захочется за- тащить ее в Красный уголок и сыграть на пианино «К Элизе» Бетховена. Веисага Ридан знал, на какие клавиши надо нажимать, выучил с помощью друга детства... Ридан заучивал «К Элизе» для своей будущей жены. До тридцати пяти лет он успеет выучить. Пospорили однажды от ду- рости с другом на три бутылки коньяка, что не женятся до тридцати пяти лет. И это превратилось в заклятие. Оба обзавелись семьями только после тридцати пяти. Эти годы до женитьбы словно были ему даны, чтобы разучить «К Элизе» Бетховена. Не имея слуха, почти Бет- ховен в старости, это было трудно, но он знал, что обязательно раз- учит, сыграет для будущей жены. Он уже закончил техникум, для отца успеет закончить политехнический институт, чтобы была специ- альность, съездит в Ленинград, поступать на философский, чтобы вме- сте с другом Генкой заняться научным коммунизмом, и с легкостью оставит эту блажь. Не по нему окажутся догмы коммунистические, и только потом поступит по душе – в Литературный институт. Правда, специальности, как таковой, не получит. Но он еще сыграет вме- сто Мендельсона Бетховена.

– Пойдем-ка, старшая, сыграю тебе «К Элизе» Бетховена, – Ридан слышал, как она, отряхнув с одежды оставшийся песок, в темноте вле- зала в нее.

...Эстонец прибежал в Красный уголок, когда Ридан, сидя за пианино, обнимал старшую пионервожатую. «Вот когда мы с графиней... на рояле, вот это было недурственно!» Эта пошлая присказка громыкала звуками расстроенного пианино. Эстонец смел их, навис над клавишами. Глухой со- бирался играть!

...Непонятно, какая мелодия звучала в его глухой башке, но он так отчаянно барабанил по клавишам, что вполне можно было услышать что- то ультрасовременное. Он выводил в эту музыку всю свою глухоту, свою сиюминутную любовь, тоску по дому, все свое, что должно было быть понятно и Ридану, и выбравшей из двоих Ридана старшей пионервожатой.

Ридан не мог, чтобы последнее слово оставалось не за ним, похлопал по плечу верзилу – мол, отойди! Несколько первых нот были снова «К Элизе», потом тоже стал барабанил по клавишам. Ему, хорошо слы- шащему, но музыкально глухому, чувств своих выразить не удавалось. Только грохот стоял. Глухонемой эстонец был выразительнее, и это уни- чтожало Ридана. «Нужно уметь чувствовать, а не бравировать заучен- ным Бетховеном», – подумал он. На старшую вожатую не смотрел, только искоса поглядывал на эстонца.

«Над лагерем ночь опустилась, лагерю спать пора... » Это так зловеще может звучать. «Ночь опустилась!» Э-ра С-на и Пашко, самый смысленный второклассник из отряда Ридана, стояли в проеме двери. Веи- сага перевел взгляд на старшую, она стояла вся красная.

«В-ина, улыбнись, улыбнись, В-ина, – говорил про себя Веисага, – я все возьму на себя. Мы ведь только музыку слушали, ты тут ни при чем. Нет ничего криминального. На пианино нет даже твоих отпечатков. Кри- минала не было. Ты только слегка присела на клавиши. Ну, в общем, это

я сам пришел, Э-ра С-на, я виноват, Э-ра С-на!..»

– Пашко, ты почему не спишь? Пошел, живо, спать, – Ридан брал инициативу в свои руки. Его лучший воспитанник, вундеркинд Пашко, уже во втором классе прочитавший «Тихий Дон» Шолохова, еще днем предупредил Веисагу: «Тебя, товарищ Надир, скоро побьют!»

– Ты что, дружище Пашко? На детективы перешел? За что меня бить?

«Я видел, как он на тебя сегодня смотрел. Будь осторожен, товарищ Надир. Мы ведь каждый день кричим: «Любимый товарищ Надир, будьте здоровы!», когда вы по утрам чихаете...»

Ридан и вправду по утрам чихал, словно избавлялся от наносного ночного. Отряд дружно желал ему здоровья. «Будьте здоровы, товарищ Надир!» Слово любимый Ридан добавлял от себя. Дети слышали и повторяли.

– Чудак ты, Пашко, но я тебя понял.

Пашко привел Э-ру С-ну, чтобы меня не придушил в приступе ревности глухонемой Отелло. Он, гад, следил за мной.

– Это что такое? . – сильный голос начальницы звучал выразительнее всяких нот...

Эстонец что-то объяснял на пальцах...

– Чтобы завтра тебя в лагере не было. Отцу твоему все расскажу.

Э-ра С-на знала Ридана хорошо, он еще пионером приезжал в лагерь. И отца его знала.

– Что случилось, Э-ра С-на? Поиграли на пианино немного.

– Я все знаю!. . Завтра отправляйся домой, считай, что смену отработал, зарплату получишь.

...Солнце поднималось над инжирными кустарниками. Ридан собирал свои вещи. Его малышовой отряд, его малыши, с которыми он был так дружен, стояли, окружив его. Культ личности Веисаги в отряде был высок. «Ты женишься на нас, товарищ Надир?» – спросили как-то у Ридана девочки его малышовой группы.

– Обязательно, вот закончу два института, – отвечал Ридан им мысленно, – вызубрю «К Элизе» Бетховена и обязательно на ком-нибудь женюсь. Вы как раз и есть мой контингент. Жена у меня будет обязательно лет на десять моложе.

– Товарищ Надир, вы просто приезжайте к нам в родительский день!..

«Улыбнись, Пашко! Заложил меня!..»

«Он бы тебя убил!» – говорил твердый взгляд малыша.

«Ну да, конечно, куда мне сладить с горячим эстонским мужиком! Ну и пусть, мне давно следовало по мордам получить. Слишком праздно живу. Хотя нет, нос у меня слабый, двинут разок, кровью изойду. Спасибо, Пашко, спасибо, брат, я и так тебя никогда не забуду».

Мысли Ридана прервал рев мотоцикла. Эстонец верхом на байке стоял перед палатой малышовой группы.

Веисага вышел из палаты.

– Чего?

– Садись, – жестом приказал глухонемой.

– Зачем?

– Отвезу тебя, – сказал в голос глухонемой, плоды трудов Э-ры С-ны были обнародованы. Только голос был у него какой-то жалкий, жидкий, он словно бы выдыхал слова. Поэтому, наверное, он все больше молчал, не разговаривал, стеснялся.

«Ему нельзя нервничать, а с тобой он нервничает, злится». Накануне всему воспитательскому коллективу Э-ра С-на говорила: «Уступайте ему, он начинает уже говорить, иначе выздоровление может прекратиться».

– Э-ра С-на попросила подвезти меня до остановки? – спросил я нарочитым басом.

Эстонец согласно, как более мудрый, опустил веки. Ридану хотелось сказать: подожди, мне надо попроситься со старшей пионервожатой. Передумал. Разнервничается, бык эстонский, дар речи, которого нет, потеряет.

– Ну что, ребята, прощайте! Видите, меня подвезут. Не беспокойтесь. Я вас буду помнить, – пообещал Ридан, и он действительно помнил, особенно Пашко, на которого страшно злился, когда тот среди ночи будил его, чтобы спросить о чем-либо космическом. Он был дитем, мечтавшим стать космонавтом. Может, и стал им, Веисага как-то уже перестал следить за полетами в космос...

...В лагере Ридан оказался только уже в следующую лагерную смену. Приехал к Э-ре С-не вместе с добрым в те годы соседом. Беда у соседей была. Младший сын не разговаривал. Ридан знал, что Э-ра С-на не откажет, поможет. Пристроит пацана у себя в интернате. А там он уж и говорить научится. Соседи в те годы все были добрыми. Да и дядя этого мальчишки был другом и одноклассником Ридана.

...Лагерь изменился, чего-то уже не хватало, даже солнце было не столь ярко. Старшую пионервожатую он наблюдал издали, шла к дальней беседке малышовой группы. Так захотелось побежать через весь лагерь к старшей, поднять и закружить. «В-ина, улыбнись, ты так хороша! Жаль, что я такой дурак!» Ридан сдерживался, бедолага эстонец мог быть где-то рядом. Нервничать начнет, пищать нечленораздельное. Нельзя, надо соседа спасать. Ридан знал, как трогательно любил детей своих отец несчастного пацана. Мы много раз ставили на проигрыватель гибкую пластинку с приветствием отца детям.

«Дети мои, – шло перечисление по именам, – папа сейчас отдыхает в Кисловодску и посылает вам вашу любимую песню «Позвони скорей!»»

Любящий отец тогда еще не знал, что его младший сын, имя которого с чьей-то легкой руки перевелось как Сокол, не слышит всеми любимую в те годы песню.

– Э-ра С-на, вы Соколику поможете?

... – А где Пашко, Э-ра С-на?

– Пашко родители забрали сразу после тебя. Он не хотел здесь оставаться.

– Конечно, кого ему было пытаться вопросами? .

...К своим двенадцати годам Соколик стал говорить. Ридан не считал, что была у него в этом какая-то роль. Свел с нужным человеком, что тут особенного, и все же ощущение некоей причастности к свершившемуся чуду у него оставалось.

– Как дела? – спрашивал Ридан у Соколика.

– Хорошо! – выдыхал Сокол ответ.

Много позже, когда Ридан уже был женат, у него уже был первенец, он приехал к отцу повидаться, отойти душою. Побить, наконец, мячом по воротам, отдаться любимой с детства забаве. Бил с разных позиций по нарисованным воротам на стене. Ридан хотел быть в форме, детская мечта все еще была жива.

Когда отец впервые взял Ридана на стадион на игру «Нефтяника», он все хотел, чтобы по стадиону объявили: футбольной команде «Нефтяник» срочно требуется умеющий забивать. Тут он поднимется со своего места, побежит на поле к своим кумирам.

– Я даже гол Пушкаша смогу забить!

Ведь может же случиться такое, что когда-то просто с трибуны пригласят в команду.

Ридан бил по мячу, вспоминая себя в детстве, когда к нему подошел старший брат Соколика, сообщил, что Сокол хочет что-то сказать, но не решается.

Соколик стоял поодаль, опустив голову, смотрел на свои огромные ступни в тяжелых ботинках на толстой подошве.

Ридан вспомнил пиришество на всю округу, которое было устроено в день возвращения Сокола из интерната для глухонемых. Сокол мог говорить! Разобрать можно было с трудом, но он говорил. Застолье пело свои пьяные песни, требовало от Соколика показать, что он слышит, хлопало. «Танцуй, Сокол, танцуй!» Соколик в такт хлопкам, сначала тихо, еле заметно, как бы заводясь, расставляя все шире и шире свои не по годам огромные ступни в тяжелых ботинках, начинал притоптывать. Возможно, для мальчишки пританцовывать под застольное не совсем правильно, но Сокол был послушным мальчиком: «Танцуем, Сокол, танцуем...», и Сокол топал, попадая в такт хлопкам застолья.

Радость была большой, Сокол слышал!

... – Соколик, слушаю тебя. Что ты мне хотел сказать?

Сокол уже был крепким мускулистым юношей, молча смотрел в глаза, отяжелевший его подбородок выступал вперед. Он все тянул вперед подбородок, как бы буксовал, заикался, не мог начать говорить.

– Стань-ка в ворота, я тебе побью.

Сокол стоял в воротах безучастно. Ридан бил – он не реагировал, он не был из поколения футболистов, футбол в их дворе играли в ридановом детстве.

– Война будет! – выдохнул Сокол утробой.

... – Какая война, Сокол? Когда?

Соколик яростно молчал: «Не знаю!»

До войны оставалось еще более двух лет!

- Кто будет воевать?!
- Армения и Азербайджан, – напором вырвалось из нутра юноши.
- Соколик, ты что?!

Сокол стоял, опустив голову, будто был виноват.

– Нет, Соколик, войны не может быть, понимаешь, не может. Мы ведь живем в едином государстве. Будь спокоен, не будет никакой войны. Не допустят! Над тобой пошутили. Какой-то дурак пошутил! – Ридан что есть силы ударил по мячу, мяч, отскочив от стены, улетел в сад к соседям.

Кто летом 1986 года мог поверить, что Армения затеет войну с Азербайджаном. И я не мог поверить.

Соколик шел домой, шажками медленными, будто тянул время, собирался возразить, но не знал, как убедить. Носки своих больших ступней ставил вовнутрь, не раскидывал вольготно. Не было уже той разухабистой свободы, когда вся округа хлопала, он танцевал. Ничего праздного, лишь тревога. Он знал, что будет война.

Только на втором десятке лет войны Ридан вдруг вспомнил о предупреждении Соколика. Соколик пытался предупредить, кому он мог еще открыться, как не ему, Ридану. Может быть, даже надеялся, что, работая в редакции, он мог что-то предпринять.

«Нет, Соколик, ты ошибаешься, войны не может быть!»

Каждый раз, когда он вспоминал Соколика, у Ридана становилось неуютно на душе, он ощущал в себе вину, она, как нечто осязаемое, которое можно даже потрогать, сковывала его, делала беспомощным. «Войны не будет!» Так, ты не поверил, но хотя бы задуматься мог! Ведь Сокол был в здравом уме, он плохо слышал, но с головой у него был полный порядок. Потом Ридан вдруг понял: нечего себя винить, война эта была позволена высшим руководством. Это был эксперимент. Были в прежней стране баловни, которым просто разрешили пошалить. Давайте, попробуйте...

Винить себя можно было лишь в том, что не спросил у Соколика, когда и чем закончится война, что и о себе не расспросил...

3

...Такого еще не бывало, чтобы мне настолько не хотелось пива. Я даже не мог заставить себя притронуться к бокалу. Мой оставшийся дома брелок для ключей в виде крохотной пивной кружки с пенившейся в ней жидкостью, возможно, сейчас обиделся бы на меня, затерялся бы, да так, чтобы его долго пришлось искать. «Не пьешь, что же ты тогда носишь уже второй десяток лет символику пивную? Тоже мне, пивник нашелся». Брелок мне был подарен сыном, но я чувствовал, что вспоминать сейчас о сыне, о дочери, жене, близких – нельзя. Девушка-старушка сидит, все улавливает, может просканировать меня всего, и тоже пиво не пьет, исподлобья наблюдает, теревит в руке солому, лишь только учует живую во мне мысль, все круша, ринется продираться к моей светлой душе. «Бойся думать о близких своих, когда рядом кто-то чужой». Постулат родился сам по себе.

Какой-то настойчивый голос изнутри, может быть, мамин, шептал: «Не пей, не пей!» Маминого голоса я уже не помнил, забыл. Он по несколько раз за день и не

один десяток лет слышался мне в гуле уличных голосов, и вдруг исчез, пропал, забылся. «Согласен, не стану пить!»

Утро, набрав силу инерции, уже переставало быть ранним. За обвитой кустарником оградой трактира «Увертюра Доброго Дня»отзвучала. Подебрадчане, кому надо было с утра на работу, уехали. Теперь и самому дню, как было и заложено с утра, предстояло стать Добрым. Он будет Добрым, будет Добрым и для меня, раз я в нем нахожусь.

Пиво на обшарпанном столе на подставке с брендом пива «Козел» все еще пенилось густой пеной. Все его попытки соблазнить были тщетны. Горький соленый привкус во рту настораживал. Появившись вдруг, он тягучей, тонкой, соленой струйкой шел горлом. Откашляться я не решался, смотрел на Ягу, будто участи ждал. Она молчала, перебирала стебельки соломы, может, пересчитывала или гадала, как на ро-машке: «Полюблю – не полюблю, отравлю, убью, съем, полезай в котел!»

– А я видел вас, мадам, несколько дней назад на вокзале.

Не знаю, произнес ли я эти слова вслух, но вдруг опять откуда-то из моего давнего прошлого каким-то блеском озорства и обеспокоенности сверкнул взгляд де-вушки-старушки.

– Ты меня видел и раньше, Фиби.

Это надо было уметь – выпить с изяществом залпом почти весь бокал пива. У девушки-старушки получилось, она пила красиво, лишь в конце, прежде чем положить на стол чуточку недопитый бокал, исподлобья, уголком усталых глаз посмотрела на меня. Что, интересно, я делаю, как себя веду?

А я и не знал, что делать, как вести себя. Соленая тягучая слюна медленно, по-степенно копилась во рту. И освободиться от нее я не решался, пытался незаметно втянуть слюну назад в себя.

Подпочвенные соленые воды, вытекающие из бетонного остова старой нефтяной скважины у берега моря, недалеко от дамбы на остров «Песчаный», образовали целое соленое озеро. Неизвестно, кто первый в него полез, по данным Ридана это были его друзья детства – Рамис и Виктор. Они первыми рассказали Ридану об озере. Потом как паломничество какое-то началось. Особенно в летнее время, в пляжный сезон.

Ридану приходилось не раз, возвращаясь с острова, сокращая путь к трассе, проходить мимо озера. «Печь блины» на озере можно было изумительные, камень долетал до середины, затем, потеряв силу инерции, остановившись, несколько мгновений был на плаву и только потом медленно погружался в воду. В это озеро не полез, решил для себя Ридан, и когда в литинституте одна студентка с Сахалина сказала ему: «У вас такое чудо, соленое озеро!», Ридан не стал ее разубеждать, говорить, что подпочвенные воды вполне могут быть радиоактивными. Подумал: с чего это он вдруг решил, что вода в озере из скважины, озеро могла выдать из себя и земля. Не было его, потом вдруг появилось. Небольшое, в длину метров сто, берега с соляной белизной...

Слюна казалась мне невыносимо соленой.

Допив остатки пива, теперь уже без всякого изящества, как-то по-мужски вытерев губы тыльной стороной ладони, женщина кивком показала мне, чтобы я пил пиво. Кивок ее в сторону моего бокала был весьма красноречив: «Давай, мол, пей, чё сидишь, кого ждешь!»

Мне тоже захотелось посмотреть на нее как-то властно. Был у меня в запасе брутальный взгляд. Взглядами своими многозначительными я не разбрасывался. Я нашел его в себе, когда стоял перед секретарем парткома кузовного цеха автомобильного завода, выпускающего автомобили «Москвич», Даздрапермой Ильиничной – женщиной-колоссом, но на объемных, крепких ногах. Она как-то с особым удовольствием, с упоением бранила меня, по ее мнению, люто провинившегося, потом вдруг, наткнувшись на мой взгляд, осеклась, обмякла, подобрела, как-то даже похорошела. «Ладно, сынок, иди, не порть больше автомобили, скажи, пусть запускают конвейер!» Сыном я ей, конечно, быть никак не мог, разве что младшим братом, последним, поздним ребенком в семье, когда ее родители решили родить себе на старость забаву – младенца. Это она так, проявляя партийную озабоченность к моей судьбе, назвала меня «сыном».

... Девушке-старушке с соломой я тоже мог быть братом. Младшим. Уставился на нее взглядом: «Да здравствует первое Мая!»

– Это вам, – сказала, наверное, она, протягивая мне пучок соломы. – Там корень магический, удачу и счастье приносит.

Расправившись с моей «Даздрапермой», она смотрела на меня цепким взглядом, взвесила, все про меня прочувствовала и вдруг сдалась, плоть лица проявилась тонкой сетью морщин, обтянутой желтой пленкой кожи, на щеках стал проявляться румянец; зарделась мадам, как манерная невеста. Румянец над сетью морщин, нечто нелогичное, путал мне все.

– Только молодости себе не проси! – было сказано по-русски, четко. – С собою корень не увози. Здесь оставишь!

«Теперь можно и уходить», – подумала, верно, она, как-то сразу засуетилась, достала из-под стола туфли. Шла, босая, по траве, походкой четкой, упругой, выпрямляя ноги в коленях. Туфли держала в руке. Такса бежала впереди, обнюхивая траву, как поводырь, путь прокладывала.

Женщина не просто уходила. Это был уход, она хотела, чтобы ее запомнили.

– Манерная! – я смотрел на ее шествие через незаполненные края пивной кружки. – Выделяется! Идешь себе, иди. – Хотя понимал: это образ, она живет им. Походку, как маску, примерила, решила, что подходит, что такой и следует ей быть. Мадам X! Всегда быть в маске – ее удел!

...Из всех тридцати метров пленки годными оказались только метра три. На них была мама. Ридан всегда помнил об этих метрах любительской кинопленки, на которой его мама шла по проулку. Больше он ее снять не успел, не удосужился. Чтобы эти три метра пленки с мамой не затерялись в неразберихе его киношного «архива», Ридан приклеил их к одному из своих любительских фильмов, где его друзья изображали из себя шпионов. Мама шла после эпизода с переходом границы, где были пограничные столбы с надписями «СССР» и «США». В фильме, снятом Риданом на киностудии, названной им иронично на американский манер: «20 fox на исходе», он позволил себе такую границу. В каком-то смысле это было символично, намеком, который друзья его так и не прочувствовали: что СССР и США – всегда антагонисты, противостоят, значит, есть и граница... Проводник через границу, его друг Генка, нес на себе через нейтральную полосу шпиона. И сразу же за Генкой, когда шпион прикончит Генку, бросив в него нож, шли кадры с мамой, которые Ридан никому не

показывал. Немного шагов она успевала сделать в этих трех метрах, потом махала Ридану рукой, заметив, что ее снимают, спешила дальше, исчезала в перспективе проулка. Каждый раз, прокручивая фильм, Ридан выключал лампу в проекторе, мама шла на экране в темноте. Ни отец, ни братья, никакие родственники никогда не видели этих нескольких шагов его матери. Не стоило беречь души отца, братьев. К самому себе же всегда возникал вопрос: почему так мало снял ее? Объяснение, что снял, но пленка оказалась бракованной, с годами становилось все менее убедительным. Ридан навсегда запомнил, как сложились эти несколько кадров с мамой. Снимал скрытно, увидев ее, идущую к проулку, ведущему к дому.

Вообще все, что было в этот, последний период жизни мамы, Ридан помнил.

Мама попросила дать ей что-либо почитать.

Ридан принес матери номер журнала «Новый мир» с романом Вадима Кожевникова «Щит и Меч». И роман Вадима Кожевникова стал последним, что прочитала его мама. Потом, через пару лет после смерти ее, когда был снят фильм «Щит и Меч», и он увидел, как в фильме радистка, красавица Валентина Тимова, идет точно такой же походкой, как его мать по проулку в кадрах, снятых им, он стал для Ридана вовсе мистическим. Они шли одинаково. Так могут идти женщины, которые знают, что они очень нужны. Мама спешила по проулку – домой, к семье, Валентина Тимова – к передатчику. В Ридане соединились две абсолютно разные женщины, снятые в абсолютно разных фильмах, один из которых никто, кроме него, не видел.

Ридан сделал для себя открытие: походка женщины может о многом говорить. Очень важно, как женщина идет, передвигается в пространстве. Уже лишь по одной походке он мог просканировать женщину, пропустить через МРТ в себе. Так и родился в нем трактат с псевдонаучным и полным иронией к себе названием: «Трактат о передвижении женщины в пространстве...» Он был записан на обратной стороне картограмм к самопишущим приборам. Тогда Ридан, студент-очник дневного отделения политехнического института, работал по ночам вахтенным методом в НГДУ. Мысли свои записывал на использованных картограммах. Прятал в одном из приборов газоанализатора, там же и находилось его собственное открытие, совпавшее с постулатом буддизма: «Не иметь желаний!» И он старался следовать постулату, убивая в себе желания.

... Ёшка была у торцевой калитки сада трактира, ведущей к Эльбе, когда я разворошил солому. Какой-то холодок прошел по всему телу. Огромная псина, спящая у боковой калитки трактира, вдруг подняла голову, не понимая, что потревожило ее сон, грозно зарывав, оглядываясь, закатилась лаем. Не обнаружив ничего подозрительного, успокоилась, опустила голову на передние лапы. И такса также вдруг засуетилась, закружилась беспокойно вокруг девушки-старушки. Я держал в руках нечто в виде небольшой человеческой фигурки темно-коричневого цвета: голова, туловище, руки, ноги.

... – Сокол! – похолодел всем телом. Корень в виде крохотной человеческой фигурки был поразительно похож на Сокола. Челюсть вытянутая, массивная, только ступней не было.

Я огляделся, сад трактира оказался пуст. Не было и светловолосой молодой женщины с девочкой-подростком, которую я видел давеча, не без удовольствия принял за нашу с женой знакомую – экскурсовода. Увидел лишь официанта, дремлющего на низенькой скамейке у ворот в трактир, вытянув вперед ноги, и параллельно им, если продолжить линию, свою козлиную бородку. Я мысленно продолжил эту линию, с удовольствием отметив, что прав.

«Девушка-старушка», «Женщина», «Яга», просто «Ведьма» открыла калитку, скорее всего, намеревалась спуститься к Эльбе. Музыка в трактире, словно успокоившись, звучала тише, хотя и пел тенорок все то же, что и вчера вечером. «Па-пара-пара-рарара-пара...» Закрывая калитку, женщина обернулась, осматривая сад трактира. Взгляд ее, прошивая пространство, петляя между стволами деревьев, ветвей и листьев, завис, остановившись на мне. Она вся была передо мной, демонстрируя напоследок всю себя: от босых ступней... Странно, но издали вдруг четче стали видны морщины на лице женщины. Как зарубы каждому прожитому году. Такса у ее ног также смотрела на меня, злилась в оскале.

Попал я сегодня с увертюрой своей. Отзвучала она... Скоро начнется основная тема. Не может это просто так кончиться. Валить надо, чего ждешь, качуемаем, товарищ Надир...

Я стал смотреть на нее через стекло пивного бокала, как через увеличительное стекло. Она слилась в сплошное мутное пятно.

... В свой первый приезд в Подебрады Ридан обратил внимание на трех женщин, издали шедших по тенистой аллее при церкви. Шутя и балагурия, Ридан задал себе вопрос, какая из них ему бы больше всего понравилась? Стал яростно выбирать. Женщины прошли мимо, оказались старушками. Тут же, забавляясь, он принялся придумывать стихи. Назвал по Бунину: «Темные аллеи».

Три грации на тенистой аллее. Вот это вот женщины, вот это вот поступь! Мне правую, что ли, может, левую? Нет в середине! Нет, и правую, и левую, и в середине! А грации шли, постепенно старели, но поступь все та же. Правую? Левую? В середине! Грации шли, с каждым шагом старели. Но поступь все та же. И мимо меня уже шли три старушки. В стильных одеждах легко свою старость несли. Я им вслед посмотрел, потом отвернулся, оставив для тех, впереди, для которых они еще молоды...

... Это она была в середине. Та самая – «Нет! В середине!»

«Вот как аукнулись «стишки!» «Ты звал меня, поэт?.. Выбирал, я пришла! Ты хотел молодую. Я сделала все, что смогла!»

Ужас, охвативший меня, сковал все нутро. Со мной такое бывает, впервые случилось на похоронах скоропостижно скончавшегося сокурсника по техникуму. Гроб опускали в могилу, все нутро мое сжалось в комок, я не мог стоять на ногах, не мог найти себе места, скорчившись, присев на корточки, просил пощады. И сейчас все нутро было сковано. Но я уже научился переживать. Ужас отпустит.

«Чего тебе приспичило стишки писать? Не дано ведь!»

«Как по Мериме в «Венере Ильской» получилось», – подумал я. В рассказе Мериме нерадивый шутник (футболист к тому же) перед свадьбой обручальное кольцо, которое должен был надеть на палец своей невесте, надел на палец найденной в раскопках античной бронзовой женской статуи, побежал играть в футбол, спасать честь своего двора. Очень уж его просили друзья подсобить им в игре. После футбола снять кольцо с пальца статуи не сумел, статуя сжала ладонь в кулак.

В ночь перед свадьбой статуя явилась к нему на брачное ложе. Легла, раздавила шутника-балагура.

«Да я ничего не хотел. Неужто так страстно выбирал, что запомнился? Шутка была. Ступай себе с Богом, женщина!»

... – Молодости себе у корня не проси, лицу может не достаться. – Голоса женщины я не слышал, но предупреждения ее как нечто осязаемое впитывались в меня.

– Ладно, Фиби, не буду. Да мне и не надо, чего мне молодиться! Скажи, что за деревяшку ты мне оставила, на Соколика похожа!

– Корень береги, магический. С ним ты будешь видеть и слышать все таким, каким хочешь видеть и слышать. Лучше в соломе хранить. Под солнцем не держи. И зла на меня тоже не держи!

«Что это такое, – говорил я себе. – Откуда я все это слышу? Гипноз, что ли, все-подебрэдский устроили. Может, НАТО проводит эксперимент, зомбирует туристов из бывшего СССР?».

«Не нужно мне никакой магии!».

Бокал с пивом еще не успел упасть, едва качнулся, как официант на всех парах летел ко мне. Не успел. Бокал, потеряв равновесие, покатился, заливая пивом стол, солому, упал на траву, не разбился.

Укор официанта был суров. Острие бороды на презрительно выдвинутом подбородке целилось мне в переносицу.

– Да ладно тебе изгаляться, чапешек. Мы, советские, в долгу не остаемся. Платим за все. Скажи-ка мне лучше... Нет, не так. *Garson, dis-moitesouviens-tu*, словом, «Венеру Ильскую» Мериме помнишь? Не помнишь! Да ты, гарсон, и не читал, наверное. А меня вот ситуация – может раздавить! Поубавь пыл, ну, пиво разлилось, бывает. Бокалы у тебя неустойчивые какие-то. Ты вот что, *Garson, donne moi silvousplei tune centtainsde grammesde «Slivovitz»*. И не думай о нас, русских, или бывших русских свысока.

Наверное, что-то во мне менялось, когда я переходил думать на свой скудный французский. Я это неоднократно проверял, неизменно чувствовал расположение к себе собеседника. Что-то благородное, бекское появлялось во мне. Вновь вращал в корнях предков, о которых ничего не знал, кроме того, что дед мой, закончивший Горькую гимназию и по непроверенным данным Петербургский университет, был убитым лет за двадцать до моего появления на свет тем, кто должен был его сопровождать и охранять в командировке.

Бородка у гарсона как-то успокоилась, да и ему лестно стало, что клиент отсюда-то знает про чешскую «Сливовицу». Напиток, действительно, знатный: согревает, светлые думы навеивает.

Хотя пить одному не по мне. И не было такого, чтобы сел, сказал себе, не выпить ли, как думаешь, товарищ НаDIR? Но сейчас вдруг захотелось. И не один я был, со мною Сокол. Я пил в одиночестве, но как бы с магией и как бы на брудершафт.

... – Ну что, Сокол-Соколик, корень магический, скажи-ка, когда войну, которую начал, кончать будешь? – спросил я молча у корня, дотронувшись рюмкой до челюсти Соколика.

Крепкая, зараза. Выпил разом, поморщился, скорее отдавая дань привычке, чем ощутив что-то неприятное.

– Ну, Соколик, скажи, когда война кончится? Дай ответ!.. Не даешь ответа! Нет магии! Может, и вправду волшебный, удачу и счастье принесешь?

– Гарсон, пардоне муа, репете, еще дринг сливовицы!.. – с официантом можно было молчать на любом языке, он понимал. – Эх, Соколик, Соколик, чего я у тебя о войне раньше не спросил. Сейчас что с деревяшки возьмешь?

4

...Я возвращался в гостиницу столь же быстрым шагом, но уже просто спешил, не думал, что убиваю сахар в крови. Парк был заполнен курортниками, пожелания «Доброго Дня» уже отзвучали. Во внутреннем кармане куртки Соколик отзывался в груди необъяснимым холодком. Тонкие ворсинки корня, пробив подкладку куртки и футболку, щекотали грудь.

«Война будет!»

Какая война, у меня только родился сын, чуть более сорока дней назад. Война казалась абсурдом, еще через два года родится дочь, и война все еще будет казаться невозможна. Еще через пять лет не станет отца, и уже около трех лет, как начнутся военные события. Смерть отца мы косвенно свяжем с войной. Потом не станет и Махмуда, других моих близких, моих дядьев и тетя.

– Сокол, какая война, – снова говорил я Соколику, вернувшись в солнечный день 1986. – Ты ошибаешься, кто тебе сказал? Война невозможна! – опущенная голова Соколика, что ранее свидетельствовало о его согласии со мной – являлась, скорее, протестом. Он опустил голову, но лицо его все более наполнилось мужественностью. Тяжелый подбородок опускался. Внутри себя Соколик ворчал. Он не хотел войны. Он сопротивлялся, предупреждал.

...Ридан, оставив свою футбольную тренировку, вошел в отцовский сад. Это была последняя тренировка Ридана. Как-то уже не получалось бить по мячу, тренироваться. В саду, между сливовыми и айвовыми деревьями, на бордюре валялся его кинопроектор «Луч-2». Он именно валялся, а не лежал. Ридан не прикасался к нему уже много лет. И пленки, снятые им, гнили в одном из ящичков, крошились. Это ли не было знаком, что рушится старое. Уходило все: кадры с мамой, с друзьями, когда сидели под деревьями в призывном пункте в Баладжары, провожали в армию Генку.

Но что было делать выводы, когда жизнь продолжала быть прекрасной. Он писал, его опубликовали, и он напишет еще. А кино – это прошлое. И пленки не сохранить, не создать ведь дома условий для архивного хранения лент. Валяется проектор? Да ладно, не нужен никому, вот и валяется. Ридан и внимания не обратил, что растались они с Соколиком, оба расстроенные войной. Один из-за того, что не поверили, а другой из-за того, что омрачили. Какая еще война, когда у тебя только что родился сын.

... Жена была обеспокоена, что я задерживался.

– Ты сегодня что-то долго, далеко забрел? – жена выпалась, готовилась к курортному подебрадскому дню.

– Да, очень точно, забрел. – Мне хотелось побыть одному, ничем не делиться и не идти ни на завтрак в гостинице, ни на лечебные процедуры, принять душ, упасть на кровать и забыться. – Ты правильно подметила, забрел, но выбрался. На завтрак не пойду, побуду здесь, полежу, подумать надо.

Уже под душем я с тревогой обнаружил на груди крохотную точку с запек-

шейся кровью, жесткую щепку корня, занозой торчащую из тела. Частичка Соколика вонзилась в меня. Глубоко ли? Выдергивая из себя «магию», я, видимо, что-то потревожил в ранке, запекаясь кровью, оживши, потекла по мне стружкой. «Фу ты, досада какая, не хватало только уколов от столбняка». Но умом я понимал: надо будет предпринять что-то, кто его знает, как магия взаимодействует с кровью.

«Даже кровь сегодня пролил! Отставить!» Эту команду я всегда выполнял охотно. Она была у меня на вооружении с армейских времен, когда после института мы проходили офицерские сборы в войсковой артиллерийской части в Гобу. Конечно, «Отставить!» – все же приятнее, чем «Смирно!»

«Отставить!» – командовал я себе, когда не находил решения. На время оставлял проблему, знал, что она разрешится подспудно, без моего суетного участия.

Уткнувшись в подушку, я пытался во всех подробностях вспомнить прошедшее утро. С самого того момента, как меня остановила женщина: «Фиби!. . »

Солнце светило в щель между портьерами, грело затылок, отвлекало, требовало прикрыть рукой затылок, но лежать в непонятной позиции с ладонью на затылке было неудобно. Приходилось терпеть, ждать, когда солнце, сдвинувшись с места, поплывет по небу дальше. Подняться же, плотнее задвинуть портьеры, было сродни измене самому себе. Правильнее было бы вспомнить что-то хорошее о девушке-старушке, например, то, как она изящно пила пиво.

«Только молодости себе не проси!»

«Не буду! Я и так не стар!» – отвечал я, прикрывая затылок обеими руками.

5

...Ридан лежал, уткнувшись в подушку, упорно пытался заставить себя слушать Гришкину пьесу. Григорий заканчивал читку. Актер театра, он знал, как подать текст, где повисить голос, напустить пафоса или наоборот, читать бесстрастно, как текст документального кино. На Ридана Гриша не обижался, знал, что хотя Ридан и лежит, но слушает. Он с первого курса слушает все его пьесы лежа.

– Этот всегда слушает мордой вниз! – говорил Григорий, однако очень ценил замечания Ридана, но вот только, несмотря на советы Веисаги, героиню свою каждый раз упорно выбрасывал в окно.

Сдавшись, Ридан перестал делать попытки вслушаться в пьесу, отказался слушать ее. Вдруг почувствовал, что с того момента, как с головой ушел в подушку, что-то в комнате стало постепенно меняться. Их по-прежнему было четверо: Х.П., Григорий, Рита и Ридан Веисага. Правда, заходили по привычке сокурсники попить чаю, однако увидев, что идет читка, спешили уйти. Пришедших Ридан в расчет не принимал, он даже головы не поднимал, чтобы посмотреть, кто вошел. Что-то менялось в восприятии им тех троих. Да и в себе он находил что-то новое, незнакомое. Откуда-то вдруг появилась уверенность, что Х.П. какое-то непродолжительное время, около полугода, жил на Камчатке в одном особняке вместе с шестью больными лепрой камчадалами. Откуда это вдруг взялось, Ридан не понимал, может, сам Х.П. поделился. О камчадалах Ридан почти ничего не знал, но о лепре был начитан.

Уже после окончания института он задумал сценарий о больных лепрой. Ридан собирался поселить их на заброшенном военными острове. На

этом острове он побывал однажды. Отец взял его с собой на нежилой остров, поехали на пикник, заодно и обследовать остров, взять пробы воды и грунта для обнаружения нефти. Они шли до острова на катере пару часов. Пока специалисты изучали остров, брали пробы воды, грунта, лавы затухшего грязевого вулкана, Веисага мог половить рыбку, покупаться, но, посмотрев на воду, не стал этого делать. И не потому, что вода была мутная, напротив, – поразившись ее чистоте. Вода на острове была чиста и прозрачна, проглядывалась до самого дна, она бы не приняла ничего инородного и Ридан бы отвергла... Это – то и было обидно, Ридан давно себя считал человеком моря. Сидел, бывало, на вахте на нефтяном промысле перед окном, смотрел в ночное море, оно плескалось под ним, кроме плеска волн он все пытался услышать голос моря. Может, голосом моря был гул. Гул Каспия Ридан слышал. Он бы мог различить его во множестве морских гулов.

Ридан не стал ловить. Бродил по острову, набрал на окопы, блиндажи, пачку сигарет «Памир» в противогазе, найденном в песке. Он слышал, что в войну на островах располагались зенитные части, оберегавшие Баку и его нефтепромыслы от налетов вражеской авиации. Рыбачить ему расхотелось. Он был благодарен отцу за то, что тот взял его с собой на остров. В тот день на острове он нашел комнату, в которой на стеллажах аккуратно стояли стопками лежала солдатская форма военного образца.

Сценарий, где больные лепрой будут жить на острове, лечиться грязью вулкана, потому как никакого другого лечения и не было, носить военную форму, я напишу позже. По сценарию, наступившее «Новое Время», пригласив иностранные компании для разработки нефтяного месторождения на острове, будет пытаться выселить прокаженных. Я напишу сценарий и потеряю его. Он вдруг исчезнет из дома. Ремонт в квартире не переживет. И сдамся, приму единственное в таком случае решение: так оно, наверное, и должно быть. Но так или иначе, сценарий мой будет связан с Х.П.

Ридан лежал лицом в подушку, но четко видел всех. Видел, как Х.П. поправляет волосы, скрывает ими небольшую язвочку с коркой на лбу, и его извиняющуюся улыбку, она сверкнула львиным оскалом и потухла. Он не стал делать никаких выводов, напротив, попытался побыстрее избавиться от аналогии с повестью Георгия Шилина «Прокаженные». Там у больных лепрой – язвочки и львиный оскал. Нет, с Х.П. все в порядке. Просто у писателя Х.П. творческий застой, не получается ничего написать. Такое уже было с ним однажды на втором курсе института. Надо было подтвердить свою творческую дееспособность. У Х.П. не получалось; рассуждать о литературе он мог, сколько угодно, что-то взять и написать – не получалось. Была попытка описать остановку автобуса, но описание это не имело завершения. И Ридан решил тогда помочь приятелю, написать за него. Ему не стоило больших трудов написать рассказ. Рассказ написан, как бы слепился из воздуха. Ридан рассказами дышал. Рассказ тот быстро забылся, он отдышался уже его воздухом, в памяти оставалось лишь то, что в рассказе был Ниагарский водопад. Какие ассоциации привели Ридана к водопаду, он сейчас вспомнить не мог.

У Х.П. вновь застой, писать ему больше ничего не буду, – сказал себе Ридан. Он сам может написать, например, о Камчатке и камчадалах, или взять и описать все, что происходит сейчас, в данную минуту. Написать рассказ, не выходя из комнаты, накапливает, как картошку, отобьет у жизни, как горняк уголь в шахте. Начать можно с любого из нас: с Григория, например, с Риты или даже с соседа из соседней комнаты. Он незримо присутствовал в комнате со своей Далидой. Сосед слушал во всю мощь своего магнитофона Далиду. Веисага встретил этого шумного человека, когда тот только въезжал в общагу. Весь вид его говорил: «Встречайте! Встречайте меня, я приехал!» Так уже было однажды, на первом курсе, старшекурсник, уже печатавшийся в Москве студент-заочник с БАМа К-цев с таким же апломбом появился в общежитии Литературного института. «Москва визжала и пицала, Москва К-цева встречала!». К-цев ходил по коридорам общежития, читал всем стихи. «Читайте стихи друг другу, общайтесь, спорьте!» – наставлял он собратьев с младших курсов.

И этот приехал, весь из себя от народа, и от власть имущих одновременно: с рюкзаком картошки за спиной, портативный фирменный магнитофон на плече, модный портфель-дипломат в руке в кожаной перчатке. Для перчаток был еще не сезон, но он был поэтом и, говорят, хорошим, значит, ему было виднее. Времена года у него менялись хаотично, как стихи подскажут. В его душе уже шла его «Болдинская осень». Может, дипломат мозоль на руке натер, потому и перчатки надел. Бывший мент, дослужившийся до областного начальства, но остающийся простым парнем, унимал драчунов в общежитии своим излюбленным способом – «Приемом Нельсона». Подходил сзади к одному из драчунов, пропускать руки ему подмышки, прогибал. Вырваться было трудно. Стихи свои он наговаривал на магнитофон, потом за плату ему их переписывали студенты-очники. За талант ему прощались шумный нрав. В минуты слабости – тоске по жене или по чему-то народному – он до одури слушал «Кострома, Кострома...» или египетско-итальянскую красавицу Далиду.

Отрываться от подушки, возвращаться в комнату Ридану не хотелось. Он ждал концовки, когда Сонечка выбросится из окна. О, как были бы неуместны аплодисменты зрителей, подумал Ридан, если бы пьесу поставили.

Суицид совершился, говорить особо не хотелось. Он не собирался ничего говорить. Пьеса написана, на следующей неделе защита диплома. Что теперь менять? Да и советовал уже Веисага Ридан Гришке не убивать Соню. Накорми супом, пусть она накрошит в него крупно хлеб, ест с аппетитом. Сигать в окно раздумает. Пусть выйдет замуж и никогда не изменяет мужу. Веисага Ридан подумал, что написать рассказ, пьесу, где сильные чувства, где смерть, где обличаются пороки, нетрудно. Гораздо труднее написать, когда все обыденно и все хорошо. Чтобы получилось так: ничего не происходит, а рассказ есть, живет.

Ридан понимал, как Григорию хочется сейчас одобрения, поддержки, даже восхищения пьесой. «Ты, Григорий, драматург!» И все, больше ничего

не надо. Ридан молчал, почему-то до мельчайших подробностей вспомнился один из редких вечеров, когда они сидели втроем – Курбан, Ридан и Григорий. К ним в комнату в тот вечер никто не заходил. Темным, тусклым пятном что-то пролетело вниз за окном. Курбан первым бросился к окну, открыл.

«Что-то выпало из окна, народу набежало!» – говорит, что кто-то выбросился, Курбан не стал – бывший десантник, чувства свои скрывать был научен. Налил себе в стакан, выпил, не морщась.

Ридан перевел взгляд на Гришу. Толстые, плюс девять, линзы его очков увеличивали капельку набухающей слезы на ресницах. Ридан не понимал, откуда он взял, что в юности в детдоме Григорий пережил драму, потерю близкого человека, одноклассницы, которая ему очень нравилась. Она вдруг выбросилась из окна. Ведь не было никаких признаний Григория, Ридан это хорошо помнил. Откуда он взял, что кто-то близкий Григория выбросился из окна. Но сейчас, лежа на кровати, он почему-то был уверен, что было, и полностью объясняло поведение героинь его пьес. «При чем тут суп?» – сказал себе Ридан, поднимая голову.

Отчетливее, кажется, даже громче, стала слышна Далида соседа. Рита, вытянув старательно губы в позу «само внимание», внимала Григорию. Боковым зрением Веисага увидел, как Х.П. между делом поправил волосы на лбу. Риту с вытянутыми губами он видел во второй раз, и оба раза она ему очень нравилась.

Первый раз это было утром в институте, на волейбольной площадке. Она взлетела над сеткой с заведенной за голову для удара рукой, ступни ног, оторвавшись от опоры, безвольно дрожали, губы, сложившись в трубочку, старательно вытянуты. «Сейчас вдарит!» – сказал себе Ридан. «Вдарит» – было позаимствовано из лексикона одноклассника, Виктора Войтова, тот всегда предупреждал, когда собирался кого-то ударить: «Смотри, щас вдарю!» – говорил он, но не бил.

Хлесткий удар, четкий отпечаток мяча на песчаном грунте говорил о силе удара Риты.

Такое уже было в жизни Ридана, волейболистка Дина из пионерского лагеря «Ласточка». Дина так же мощно била по мячу. Воспарив, зависала над сеткой, ждала мяч, губы старательно вытягивала в трубочку. Красивая девушка из старшего отряда, она нравилась всем, хотя может это Ридану только казалось, и она нравилась лишь ему одному.

«Дина!» – кричал лагерь, и Ридан вместе со всеми. Дина, взлетев над сеткой, заведя руку, согнутую в локте за голову, била по мячу что есть силы...

... Я лежал на кровати, положив обе ладони на затылок, берегся от горячих лучей летнего солнца, лоб, лицо, нос горели от удара мячом пятидесятилетней давности. Память хранила эту приятную, обжигающую боль. Мне множество раз на футболе попадали мячом в лицо – и когда стоял на воротах, и когда бегал по полю, но я никогда не терял сознания. А тут вдруг от удара Дины упал, потерял сознание. Я не знал, сколько это продолжалось, но наградой мне была Дина. Она, вытянув губы трубочкой, вдыхала в меня жизнь. От дыхания Дины пахло сгущенкой. Подкормка тети Римы, работницы столовой. Любила тетя Рима побаловать детей сгущенкой.

«Идите сюда, дети, сгущенкой кормить буду!» Смотрела, как мы пили по очереди оставшуюся сгущенку из больших железных банок, напевала что-то народное, татарское.

Дина вдыхала в меня воздух, спасала, даря мне первый «поцелуй-не поцелуй» в моей жизни, а может, и в своей тоже. И губы трубочкой, и Динин запах со сгущенкой навсегда остались во мне. Я бы еще не один раз подставился под ее удар. И когда все восхищалась «спортсменкой, комсомолкой, отличницей и, наконец, просто красавицей», в моей жизни уже была «спортсменка и просто красавица».

Как депешей из прошлого пришла уверенность в том, что Дина не приехала в лагерь на следующий год потому, что родители увезли ее жить в Израиль.

Солнце в щель между занавесками, оставив в покое мой затылок, направилось дальше в комнату, должно было греть мою куртку на спинке стула с Соколиком в кармане. Разогреет, высушит Сокола! Вставать надо, спасать соседа. Я вскочил. На стуле, залитая матовым солнечным светом, сидела жена. Я смотрел на нее, она сливалась с бархатистым, матовым солнечным светом, в котором ярко зеленели ее глаза. Будь у меня сейчас камера с трансфокатором, с солнечными фильтрами, я бы снял ее на пленку. Я смотрел на жену и видел кадр: она сидит на стуле в матовом солнечном свете – спокойная, уверенная, знающая вкус жизни женщина, за спиной у нее бескрайнее, уходящее в Шемаху маковое поле. Кадр с моей женой в маковом поле я проектировал лет десять назад. Мы ехали с редакцией в сторону Шемахи, отдохнуть на природе, остановились посреди макового поля, тянувшегося по обе стороны дороги. Женщины вышли пройтись. Я остался около машины, все искал ракурс, где за моей женой не было бы видно никого, только она одна, и дальше, до бесконечности, – поле в маках.

– Ну, что на этот раз случилось?

Вопрос ее уже предполагал стандартный для нас с женой ответ: «Так, пустяки», – сказал бы я в ответ. Это было бы цитатой из моего друга Генки и бывшего президента Франции Жоржа Помпиду. Генка поразил однажды чтением стихов Помпиду. Я запомнил их в его чтении. «*Опять пришла зима, и в окнах желтый свет. В такой же вечер прошлою зимою я грустил, спроси меня кто-либо, что с тобой?*» «Так, пустяки», сказал бы я в ответ!» Я отвечал так ей много раз: «Так, пустяки!»

– Уж не разбил ли ты чего, у тебя обычно такой вид бывает, когда ты бьешь машину нашего сына.

Je ne te comprends pas, madam! (Я не понял тебя, мадам) Молчание мое было на французском.

– Я только что видел вас, мадам, сидящей на стуле в маковом поле. И было лишь три цвета: желтый, как уныние дня, в трепетании маков – красный, как тревога, и спасительная зелень вашего взгляда.

– Ты пьян, Веисага, выпил с утра.

– Нет! – я и забыл, что пил. Двести граммов сливовицы не подействовали. Тут же ощутил во рту вкус сивухи. Сивуха была мне по вкусу с самого первого раза, когда я попробовал брагу. – Нам пучок соломы рапса подарили, – сообщил я.

Вытащил из кармана куртки Соколика. Он был влажный и холодный, как лед, только коричневого цвета. Чуть не выронил его.

– Вот, знакомься, – Соколик! Я назвал его именем соседского мальчишки из Качухура, фигурка очень на него похожа.

Жена бережно взяла в руки Соколика, была умилена.

– Ой, чудо какое!.. Это же корень мандрагоры! Откуда он у тебя? Говоришь, солома! Где ты его выкопал? Ты его выкопал?! – вскрикнула она испуганно.

– Oui, madam, да, мадам. Подарили нам, женщина подарила!

– Какая женщина? – ей было и не важно, какая именно женщина.

– Наполовину старая.

– На какую половину?!

– Ты не поверишь, мы ее не знаем! Но она наша старая знакомая, видели ее на вокзале, когда ездили в Колин. Она была в крепдешиновом платье, помнишь?

– В шифоновом!

– Ну, в шифоновом. И год назад ее видели, в тенистой аллее. Шли три старушки. Три грации в тенистой аллее, помнишь? Она была в середине. Теперь помолодела здорово, только лицо подвело, иногда вдруг покрывается морщинами, как пересохший, потрескавшийся солончак.

– Веисага! – взгляд ее застыл в напряженном ожидании неприятностей. – Говори!

– Так, пустяки, сказал бы я тебе! Встретилась на рассвете у памятника Йиржи Подебрадскому. Назвалась Фиби, может, меня так назвала. Предложила пивка попить. Дала пучок соломы, в ней Соколик. Вот вкратце вся история. Там еще была собака противная, такса, тоже Фиби, и официант с козлиной бородкой из пивного трактира, куда мы вчера вечером заходили, но это уже другое.

– Веисага, ты вообще что-нибудь знаешь о цветке мандрагоры, о его корне, что он магический, по легенде к висельникам имеет отношение?

Я молчал. Из магических цветов мне была известна только ромашка, погадать мог запросто на ней.

«Да, я обалдуй»!

– Двоечник ты, – двоечником она называла меня незлобно. «Есть маленько, – соглашался я, – кто сейчас не двоечник?». Но по натуре-то своей двоечником я не был. Я получал двойки в школе из солидарности с друзьями, знал урок, но не отвечал. И всегда, когда мне ставили двойку, внутри меня зрел мощный протест, я вспоминал ответ, отчетливо видел его своей зрительной памятью в книге, где, в какой части страницы он указан: справа или слева, вверху или внизу.

И про цветок мандрагоры я вспомнил. Стихотворение в эпиграфе к драме Кнута Гамсуна «Царица Тамара» называлось «МАНДРАГОРЪ».

Перелистывая томик Кнута Гамсуна более чем столетней давности, за 1910 г., подаренный мне коллегой по работе в редакции Ровшаном, я наткнулся в драме «ЦАРИЦА ТАМАРА» на героиню, названную именем моей мамы. Точнее, на производное от имени моей мамы: Фатма. «Я чиста, потому что мусульманка!» – возражала в драме Фатима царице Тамаре. И к Кнуту Гамсуну я проникся еще большим уважением, поразился широте его интересов. Холодный северянин, норвежец, и вдруг – царица Тамара, мусульманка Фатима. Вспомнилось последнее, что я читал о Кнуте Гамсуне – эссе в журнале «Иностранная Литература». Мы выписывали в редакции этот журнал в 2010 году, как раз через сто лет после издания тома из собрания сочинений К. Гамсуна с «ЦАРИЦЕЙ ТАМАРОЙ», со стихами «МАНДРАГОРЪ».

В эссе в «Иностранной Литературе» Кнут Гамсун доживал свой век в приюте. Он не разговаривал, не мог ходить. Работница приюта выкатывала Гамсуна на каталке на берег озера, оставляла его там. Кнут лежал безмолвно в каталке до самого вечера. Молчал. Что ему было говорить, когда он уже все сказал. Так было каждый

день, пока автор эссе находился в этом же городке. Он показывал окружающим Гамсуна, но тот мало кому был интересен.

Я каждый раз вспоминаю это эссе, связанное с Кнотом Гамсуном, когда приезжаю в Трускавец, смотрю в окно своего номера на озеро, вижу по утрам туманную дымку над ним, жалею, что ее не видит Гамсун. Он доживал последние дни у озера. Мне хочется, чтобы его душе было покойно.

– Вот, почитай, что пишут о корне мандрагоры. – Жена протянула мне свой телефон.

«Мандрагора – самое загадочное растение на планете. ореол таинственности окутывает мандрагору с начала времен. В Аравии существовало поверье, что мандрагора светится ночью.

Извлекать мандрагору можно исключительно опытными людьми. Обывателям она несла только неприятности, и даже смерть. Решившемуся на такое надо пройти особый ритуал. Для этого используют собаку. Привязывают к растению, кидают ей мясо, чтобы она тянулась к нему и, соответственно, вытягивала корень из земли. Во время этой процедуры растение вопит звуками, сводящими всех с ума, до кого они могут донестись. Собака, как правило, погибает.

В медицине используют мандрагору для лечения опухолей. Корень мандрагоры напоминает тело человека, отсюда следует проведение с его помощью различных магических ритуалов. Мандрагора считается средством от различных вредных и плохих чар, так как в ее корне находится большой запас энергии.»

МАНДРАГОР

*По горным откосам, в заморской стране,
Растет он в кустах под скалою.*

Он весь каменеет при бледной луне

Искрится адской росой.

Как корень волшебный он всюду в цене

Как зелье, что действует скоро.

Таков стебелек мандрагора.

Он всем расточает свой вкрадчивый яд,

Туманящий души людские:

Здесь холодом смертным испивший объят,

Там хохот и пляски лихие.

Где кроткий, а где ненавидящий взгляд

Он может зажечь без разбора.

Зане он цветок мандрагора.

Но в час прихотливый роняет он в кровь

Сиянье лазури рассветной.

И в сердце холодном, смирившим любовь,

Пылает огонь беззаветный.

И вновь горяча и томительна ночь,

Тоскливость любовного взора.

Таков-то цветок мандрагора.

По-своему двоечничеству я не знал, что о мандрагоре писал и другой почитаемый мною писатель Иван Бунин.

Преступника тянет на место преступления. И меня тянуло в трактир: «Найду собаку, найду и женщину, всучившую мне Соколика». Надо вернуть ей корень: «Возьми! Нам ничё не на, у нас сё е!» – как говорил Григорий, проснувшись поутру, глядя в окно на Останкинскую телебашню.

Два взаимоисключающих друг друга желания терзали мне душу. Пойти в трактир, поговорить с официантом, уже не молча, а по-мужски, схватить его за глотку или за бородку. «Найди, гад, бабку, или передай ей корень! Умоляю, избавь от него. Я не знаю, что с ним делать. Не нужно мне богатство и здоровье от магии!»

Другим желанием было повалиться ничком на кровать, раскинув руки и ноги, забыться, уйти туда, куда поведет.

... Далида уже в десятый раз, наверное, пела про Салмаю. И вдруг Рита стала танцевать. Она сливалась с Далидой, она вполне в нее вместилась, была изящной и желанной, мелко переступая ногами, она в ключья разрывала завесу дозволенного. За стеной бесновался от тоски поэт-ис-терик, заливающий тоску Далидой. Ридан чувствовал, что Рита танцует только для него. Он почему-то уже не принимал в расчет ни Григория (тот весь был в пьесе), ни Х.П.. Тот должен довольствоваться лишь тем, что Рита нравится другим. «Нравятся тебе, басурманин, наши русские девчата!»

Впервые Ридан заметил Риту два дня назад в троллейбусе. Она была в противоположном конце. Напряженно смотрела в окно, будто ей ограничили угол зрения, взгляд направо, взгляд налево – предсудительно, неправильно поймут. «Таких женщин всегда неправильно понимают, они живут душою, а не расчетом и разумом, – думал Ридан. – Они живут порывами и других ими заражают. На свете таких, должно быть, было немного...»

Одну из них он видел в Ленинграде, шла навстречу Ридану. Всего лишь шла женщина, знающая, что нравится, тем самым уже разрывала в ключья завесу, за которой береглось недозволенное. Она всего лишь шла, и Ридана не знала. Ридан спешил на экзамен – писать сочинение, он поступал в университет на философский, на научный коммунизм.

Ночь он провел на дебаркадере, на противоположном берегу Невы, пил кофе. Белая ночь его не впечатлила. Сидел, ждал, когда она будет поглощена рассветом, но так и не заметил перехода. Об экзамене он не особо беспокоился, выберет свободную тему, какой бы она ни была. Не любил он догмы, заученные трактовки. Проведя ночь перед экзаменом на дебаркадере, он уже запустил в себя мысль, что не хочет поступать на философский. Когда утром сведут мосты, он перейдет Неву, поспешит в общежитие, чтоб хотя бы часик поспать, потом пойдет на экзамен. Теперь Ридан знал, что свободная тема окажется: «Почему я поступаю на философский?» Но когда шел на экзамен, он еще и понятия не имел, что раздумает поступать, что не захочет заниматься научным коммунизмом. Вернется в Баку продолжать учебу в политехническом, где взял отсрочку на год. И это лишь потому, что женщина прошла. Он на тот момент не знал, что на сочинение уйдет минут пятнадцать, не больше. Напишет несколько строк. Его фишкой будет эпиграф к сочинению – волнистая, напоминающая затухающую синусоиду, линия, позаимствованная

им у О. де Бальзака из «Шагреновой кожи». (Бальзак сам взял ее в качестве эпиграфа из какого-то произведения, где старик рисовал на берегу моря такую же линию, только вертикальную, говорил, что это линия жизни). Волны накатывались, – подумал Веисага, – смывали эту жизнь, старик рисовал ее снова. Ридан сядет писать сочинение «Почему я поступаю на философский», перед ним пройдет вся его жизнь. И ему не захочется ничего в ней менять. Он опять увидел перед собой женщину, что шла утром. Она не вписывалась ни в какую философию. Была просто женщиной. Он раздумывает поступать. Не по душе ему окажется наука о бытие. Какой научный коммунизм, когда он увидел, как женщина идет.

Если бы тогда Ридан все это знал, непременно подошел бы к ней.

Они шли друг другу навстречу, женщина видела, как нужна она Ридану. Прошли, оглянулись. Теперь бы Ридан вернулся.

– Я иду на экзамен, – сказал бы он ей.

– ...

– Подожди меня минут пятнадцать, скажем, вон там, у двенадцатой колонны. Я быстро, напишу сочинение и приду.

– И что потом?

«А что потом? А что потом, она шептала шепотом!» Потом – ничего. Так или не так, все во мне будет переиначено. Навсегда запомню, как ты шла мне навстречу, а я мимо прошел. Такая вот прелюдия».

– Потом?! Потом пойдем на качели или на карусели. Покатаемся на Чертовом колесе. И пока мы сделаем полный круг, я расскажу, что помню тебя многие годы, не стоит мне отказывать в желани. Я и так себя корю, что пошел на экзамен...

... Ридан пробирался к Рите несколько остановок, все раздумывал, подойти или нет. У Савеловского вокзала решил, стал рядом с нею. Уставился в ту же точку на окне, на которую неотрывно смотрела Рита. Говорить, обращаясь к ней, глядя сузубо в окно, забавно, – решил Ридан. Будто сам с собою разговариваешь. «Ты в институт? – спросил Ридан, не поворачивая к ней головы. – А я – нет. Занеси в деканат заочного отделения мою контрольную, – произнес Ридан, глядя в окно. – Меня в общаге сегодня не будет, завтра заходи к нам?» Ридан не ожидал, что Рита с легкостью согласится.

– Давай контрольную...

– А ее нет, это так... заговорить с тобой хотел.

Теперь Рита танцевала, он полагал, что для него. За окном, внизу, предположительно лежала выброшенная из окна их комнаты Сонечка.

Вдруг что-то словно бы ужалило Ридана в грудь. Перехватило дыхание. Поэт за стеной закончил танцы. Было одиннадцать часов вечера, шуметь запрещалось. Поэт, как административный сотрудник областного ранга, был законопослушным. И Далида, должно быть, устала. В наступившей тишине вернулись в Гришкину пьесу.

– Верю, Гриша, верю, – сказал Х.П.

Странно было бы, если бы Сонечка не выбросилась из окна, как-никак, с первого курса пытается, – крохотная точка на груди Ридана словно пламенем пылала. Хотелось снять свой хемингуэвский свитер, посмот-

реть, что это его все жалит.

– Но ты молодец, Григорий, драматург ты, я это знаю.

– А что, хорошая пьеса, вы, Гриша, большой молодец, – Рита собиралась уходить. – Спасибо вам, Гриша.

Когда Гриша был в ударе, он читал Баркова, его знаменитую поэму.

«Не сейчас!», – мысленно скомандовал ему Ридан. И все стали расхаживать.

Ридан снял свитер. Крохотная точечка с запекшейся кровью на груди слева уже не жалила. Ридан никак не мог взять в толк, откуда вдруг она появилась, сковырнул корку, под ней была крохотная точка давно зажившей розоватой плоти.

«Будущее даже в прошлом способно нас ужалить, когда мы в чем-то не правы», – вспомнил Ридан из рассказа своей дипломной работы, укладываясь спать.

Утром, когда Ридан вынырнул из сна, перед его кроватью в легком красном пальтишке стояла Рита.

– Проститься пришла. Прости, уезжаю.

– Зачем, куда? В Кострому?

– Почему в Кострому? – Рите было весело. – Во Владимир!

– Потерпи пару дней, в понедельник после защиты вместе поедем.

– Я обещала маме приехать, картошки накопать...

«Далась им всем эта картошка»...

... Риту Ридан догнал на улице, когда она уже садилась в такси.

– С тобой поеду. Я замечательно копаю картошку, лучше всех. Однажды участок на даче в двадцать пять соток перекопал. Двигайся, рядом пристроюсь.

– У тебя же защита?

– Успеется! Я уже однажды выбрал экзамен.

Ридан ехал и знал, что совершает поступок, что их обоюдный с Ритой сиюминутный порыв в будущем в его рассказах явится той самой отправной точкой, станет правдой навсегда, на которой будут строиться рассказы, и в них уже не будет места для непонятно откуда вдруг появляющимся и напрочь забывающимся Ниагарским водопадам. Правда с Ритой будет рядиться в разные одежды, она будет аристократического вида пожилой француженкой, ищущей гардероб в Эрмитаже, к которому, взяв даму под руку и источая весь свой скудный запас французский слов, подведет Ридан. Будет молодой женщиной, накинувшей на себя утром мужскую сорочку и готовящей у плиты блины. Точно такой, какую любят снимать в фильмах про любовь. И для этой правды купит Ридан в валютном магазине «Березка» на чеки, подаренные ему братом, пакистанскую клетчатую голубую рубашку. В такой рубашке намного выше колен, с голыми загорелыми ногами, Рита будет очень выгодно смотреться.

Однако истина, нигде пока не описанная, будет в том, что они так и не накопят картошки. Картофель будет уже выкопан и сложен в подвале влюбленным в нее соседским увальнем. Крупный, рыжий, инфантильного вида мужик с огромными пудовыми кулаками, готовый в любую

минуту услужить, всегда будет рядом. Глядя на него, Ридан почувствует себя там, неподалеку от выкопанной картошки, чужим. Он позарился на чужое, потому что внезапные порывы всегда целятся на чужое.

– Мужик, брага у тебя есть? – спросит от отчаяния Ридан. Он решит уезжать в Москву.

– Е! А как же!

– Давай, тащи сюда, будем праздник урожая картофеля отмечать!

«Вот рыжий падла, – ругнется беззлобно Ридан, – отхватил девку, будет считать ее своей, правда, на время, пока она не отдастся следующему порыву, такие отдаются порывам без остатка, в конце концов истощаются, перестают быть. Ей не надо будет бросаться из окна, она просто перестанет быть, хотя все время будет рядом».

И еще одной правдой в тот день, когда Ридан вернулся из Владимира, было то, что ночью увезли Х.П. Большие его никто не видел. Комнату его закрыли. Ридан догадался почему, но никому не стал говорить, полагая, что лишь ему одному известно о камчадалах.

6

... Поднялся я с постели с ясной головой и принятым решением. Соколика надо возвращать. Укутанный в полотенце, он был закрыт в ванной. Пойдем с Соколиком брать след, до самой Эльбы дойдем.

Жена вернулась с очередной лечебной процедуры, когда я уже выпил свою дневную порцию бутылочного пива «Ургуэл Пилзень». Самое классное, лучшее в мире пиво, как утверждают чехи. Я бы, конечно, поспорил в пользу другого чешского пива «Козел», но не решался. Может, и вкуса, как и слуха, не имею.

– Иду с Соколиком старушку искать, – сказал я жене, укладывая завернутого в носовой платок Соколика во внутренний карман куртки, теперь уже с другой, с правой стороны. – С нами пойдешь?

– Пойду! – сказала жена.

Прекрасно говорящая по-русски Мартина на ресепшене гостиницы еще утром просветила меня, сообщив, что жена по-чешски будет «манжелка». Мне понравилось, подумал, что так и буду обращаться к жене. А то все мадам, да мадам, только что мадемуазель не называю, впрочем, это было бы странно после тридцати с лишним лет супружества и при наличии двух детей. Увидев Мартину, мне захотелось назвать жену манжелкой, хотя бы в благодарность, за то, что она идет со мной. Стал придумывать фразу складную, не сумел, дал себе команду: «Отставить! Дома буду так ее называть!» Мы вышли из гостиницы, я словно взял след, решительно пошел по своим утренним, уже тысячу раз затоптанным следам. Пытался вспомнить утренние мысли и ощущения. Вот цветочные часы, с календарем в цветах. Показывают 15-ое августа. Через несколько дней – день рождения сына. Утром на цветочном календаре меняли дату, женщина меняла ящички с цветами.

«Ах, вот оно, значит, как происходит, теперь буду знать!»

Женщина улыбнулась, ей нравилось, что она сопричастна тайне, что хранительница ее. За цветочными часами в крохотном скверике, окруженном низенькой оградой, механический гномик стал бить молоточком по шляпке железного гриба. Цветочные часы показывали шесть часов утра. «Через несколько дней день рождения сына. Он, должно быть, уже проснулся, едет в Москву на работу. А дочь в Баку,

ведет детей в садик. Добрый Дэ-э-эн!» – пожелал я им на чешский манер.

Снова захотелось услышать увертюру Доброго Дня. Оркестр начинал настраивать во мне инструменты. Я слышал высокое звучание скрипок, без альтов и виолончелей, и такт, отмеряемый контрабасом без смычка, как звук шагов. «Тук, тук, тук». Совместимо ли такое сочетание? Но мне ли, неучу, было знать? Но зато я знал и видел за контрабасом своего близкого друга детства Ильяса. Выпишу его из Америки, когда увертюра к моему роману будет готова.

«Соколик, как тебе музыка Доброго Дня, слышишь?» Соколик отзывался прохладой в груди справа через футболку, подкладку куртки, носовой платок.

– Сегодня у Натальи экскурсия в Кутну Гору, поедем? – спросила жена, поспевая за мною.

«Кутна Гора, говоришь?!» И вдруг словно осенило: «Поедем! Обязательно поедем. «Если, конечно, не найдем старушку.

В Кутна Горе, в церкви-музее «Костница», и оставим мандрагору!» Не думаю, что будет криминально. Оставляю тебя с черепами, не обидишься, Соколик, не начнешь чудить?

Костница в Кутна Горе – как напоминание об эпидемии холеры. Церковь-музей обложена человеческими черепами и костями. В свое первое посещение мы не решились зайти в зал. Там самое место магии, будет храниться в средневековье, в своей стихии.

Я шел, забавляя себя подобными мыслями, и вдруг словно резко нажал на тормоза: «Отставить!»

На площади, на светофоре, прямо напротив того места, где утром я встретил женщину с пучком соломы, стоял прекрасно сохранившийся «Москвич», как новенький. И цвета он был бежевого, какой и был выбран для двухмиллионного «Москвича».

Соколик ерзал в кармане, щекотал грудь...

«Узнаю, батенька, непременно узнаю твою работу, как увижу «Москвич» без правой боковины...» Ридан попытался прочитать эти несколько строк из Генкиного письма его голосом, не получалось. Более всего не удавалось произнести слово «батенька». Это бодренькое слово, взятое напрокат у вождя, Генка произносил с хрипотцой и хитроватым Ильичевским прищуром. Не зря, видно, в научный коммунизм пошел. Подражал кумиру.

«Да, «батенька», – отвечал ему мысленно Ридан на свой лад. – Работают на конвейере, на автомобильном заводе, скоро выпущу двухмиллионный «Москвич». Так-то брат, знай наших! Что касается правой боковины, батенька, на конкурсе сварщиков контактной сварки правых боковин автомобилей занял бы второе место, первое никому б не дали, если, конечно, вы такой конкурс организуете».

Но после Генкиного письма Ридан увеличил число контактных точек, сваривая правую боковину кузова «Москвича». Кто его знает, что может стать с правой боковиной в эксплуатации?

... Я остановился, как вкопанный. На площади перед светофором стоял «Москвич-408» из нашей двухмиллионной серии. Даже у нас, в бывшем Союзе, его давно уже было не встретить. А здесь он вот, пожалуйста, полюбуйте, блестит никелями, как новенький. Ретроэземпляр, теперь он своей крутой дремучестью стал ближе к машине моей мечты – автомобилю, на котором ездил Штирлиц.

Загорелся зеленый свет светофора, «Москвич» медленно, словно дразня меня, а может, давая время вспомнить, тронулся вперед, плавно вписываясь в поворот дороги, ведущей к мосту над Эльбой.

– Что с тобой, тебе плохо, сердце? – перепугалась жена. – Тебе нельзя пить, нельзя пиво. «Ну что ты, манжелка! – молчал я. – Все нормально, все хорошо, пиво в Чехии мне можно! У любого чеха спроси».

– Просто встретился знакомый «Москвич!» – сказал я вслух. – Да и что это мы с тобой рьяно бросились старуху искать. Пройдем через площадь, в уличное кафе, посидим, кофе попьем, может, и сухого моравского винца, оно полезно для сердца.

Про вино я только подумал. Какой-то алкогольный день у меня получался. Утром, почти на заре, сливовица, потом пиво. И все же не зря объявился «Москвич», лет сто его не видел и вдруг – на, полюбуйся, я цел, целехонек, продукция «MADE IN AGASIYEFF». Да, в нем мой труд, мой пот, мой рассказ и брань Даздрапермы.

Мы сидели с женой в кафе. Я не стал убеждать ее, что сухое вино, особенно в моем возрасте, это бальзам для сердца. «Забальзамирует его, никакая гниль в сердце не проникнет!» Просто взял два бокала вина, по три шарика мороженого, орешки.

Три месяца работы в Москве на автомобильном заводе АЗЛК, где мы после четвертого курса политехнического института проходили производственную практику, просачивались в меня откуда-то из воздуха и из уже проехавшего и, наверное, не оставившего никаких следов «Москвича». Сначала запах металла особой листовой жести, из которой изготавливались кузова. Потом лязг, шум конвейера, московское дождливое лето 1974 года, красивая девушка без имени, с изящной линией подбородка, и в первое время невзлюбившая меня парторг Даздраперма...

... За все три месяца жизни в Москве в памяти Ридана остались только две женщины: Большая Даздраперма и четкая, аккуратно ступающая девушка-контролер. Конвейер, метро, общежитие химико-технологического института на «Соколе» и мороженое «48 копеек» – полукилограммовый брикет, который ежедневно покупал сокурсник Ариф. Как он его только съедал и горлом не страдал?

Парторг кузовного цеха АЗЛК Даздраперма Ильинична приняла группу Ридана сурово. Не ее это была идея – приглашать на практику студентов иногородних вузов. Понаехали! Но должны помнить, что находятся в Москве. Она стояла перед ними, будто только с заседания политбюро. Серьезная, строгая и с именем странным – Даздраперма. Все свои страшилки по нарушению дисциплины на работе, общественной жизни в городе и в общежитии она говорила, не сводя глаз с Ридана. Словно бы была именно в нем не уверена. «Вот он, будущий... – Ридан пытался догадаться, кого она в нем может видеть, но какая-то непонятная «жвачка» придумывать рифмы к ее имени – Даздраперма – не давала сосредоточиться, – разве что, криминально ненадежный субъект...» – заключил Ридан и оказался где-то даже прав. Ридан смотрел на парторга, все правильное в ней, красивое, но с избытком, все большого размера. И называть ее надо было как-то нежнее. Вместо Да Здравствует Первое Мая, просто Маей, как называли, например, его одноклассницу Майю Э. Дочь полковника ракетных войск, очень уютная была девочка.

Ридан смотрел на Даздраперму-Маю, все больше проникаясь ее пафосом: «На вашу долю выпала большая ответственность; вместе со всем

слабным коллективом АЗЛК принять участие в выпуске двухмиллионного автомобиля «Москвич». Может, даже кто-то из вас сможет получить его в подарок!» Она заканчивала фразу, ни на кого не глядя. Смотрела куда-то в окно. Там, внизу, за окном, на огромной площадке пылали разноцветьем новенькие «Москвичи». Двухмиллионного среди них еще не было.

Впервые девушку с изящной линией подбородка Ридан увидел на своем участке только в самом конце производственной практики. Она шла вдоль конвейера, аккуратно обходя всякие неровности, преграды, записывала что-то в блокнот. И Ридан записывал ее в себе такой, какой видел. Их взгляды встретились. Никакой искры. Какое-то время она смотрела на Ридана, потом повернулась и ушла. Пошла на другой конец конвейера, как в другую жизнь. Ридану вдруг захотелось, чтобы конвейер остановился, тогда он мог бы догнать ее, сказать что-нибудь, неважно, что, пусть даже глупенькое, или спросить: «Где ты была раньше, два месяца назад!» Он вдруг представил, что будет догонять и все оглядываться, не включился ли конвейер. И ему так жалко стало себя. Вся его жизнь в Москве – это променады туда-сюда в пределах своей зоны на конвейере. Хоть он и не ограничен клеткой, но все равно в клетке. И его желание сказать ей, что такое личико, как у нее, надо бы оберегать вуалью, так и оставалось неудовлетворенным.

В обеденный перерыв он снова увидел ее. Сидела за столом перед тарелкой с ломтиком арбуза, положив подбородок на кисти рук. Арбуз для заводской столовой был диковинкой, объяснялся Веисагой Риданом, что является праздничной атрибутикой к двухмиллионному автомобилю. Профком с Парткомом постарались. Веисага Ридан смотрел на нее, как она сидела, не ела арбуз, сожалел, что через пару недель уедет.

После обеденного перерыва, когда он вернется на конвейер, из него вдруг польется текст. То, что это рассказ и некое признание, и оно – как бы роспись в его стремлении добиться желаемого, Ридан осознает позже. Свой текст-рассказ-послание, как помесь кайфа от озорства и от творческого порыва, он запишет, не найдя ничего более подходящего, на крыльях кузовов «Москвичей» на конвейере. Ридан будет писать, вполне успевая делать и свою работу, сваривать контактной сваркой правую боковину «Москвича».

Кузова шли по конвейеру, он прошивал контактной сваркой проемы дверей правой боковины, стыки металла на крыльях под никелированные планки, успевал писать. Текст к незнакомке прямо-таки лился из него. Прошло не меньше десяти кузовов, прежде чем он успел закончить свой рассказ-послание незнакомке на другой конец конвейера. Закончив рассказ, он в творческом порыве, под придуманным им лозунгом: «За прочность правых боковин автомобилей!», без устали ходил взад-вперед по своему участку на конвейере, когда конвейер вдруг остановился. Еще не было тревоги, что остановили конвейер из-за него, была лишь радость, что сумел так ловко и красиво высказаться, а на горизонте, куда утекали кузова, появилась Даздраперма Ильичична.

«По мою душу», – подумал Ридан, гнев Даздрапермы для него уже не имел особого значения. Он издали видел, что Даздраперма шла вдоль кон-

вейера, читала его послание на кузовах. Ридан понимал ее тревогу, кто знает, что там пишут на двухмиллионных «Москвичах».

Вчера вечером он наконец-то пошел в театр в Москве. Он почему-то выбрал театр Пушкина, может, из-за того, что там давали пьесу бывшего бакинца. Но именно по дороге в театр имени Пушкина он вдруг увидел вывеску: «Союз писателей СССР. Литературный институт им. А. М. Горького». «Вот!», – прошептал Ридан. Внутри у него все замерло. Он не забывал этот миг целых три года. Веисага Ридан знал, что он обязательно будет учиться в этом институте. Только надо сесть и начать писать.

«А вот и рассказ написан! – подумал Ридан, видя, что Даздраперма Ильичична направляется в комнату мастеров. – В единственном экземпляре, но будет колесить по всей стране... Почему все решили, что это я?» – спросил себя Ридан. Сам же и ответил: «Потому, что больше никому!» – эта мысль льстила Веисаге Ридану.

... – Ах, вот ты какой, наш писатель? – Даздраперма знала, как унижительно поставить ударение.

«Закрасят, Майя-ханым, – все покрасят, зашпатлюют, – молча отвечал Ридан, глядя в горящие гневом большие глаза Даздрапермы Ильичичны. – А что такого я, собственно, сделал? «Писатель!» Вспомнилась фраза Генки, он, якобы, цитировал одного из руководителей-прорицателей: «Кавказ нам еще такой понос устроит!» Ридан не верил, что руководители страны могли именно так выражаться. Но раз Генка цитировал... «Майя-ханым, почему сразу писатель? Я с Кавказа, мы обычно понос устраиваем, Даздраперма Ильичична!» Ридан так по-серьезному смотрел в Даздрапермовские глаза... они у нее забегали. «Смутилась тетка!» «Майя-ханым, Бог с вами, какая крамола?» Ридан и не думал, что может настолько обнаглеть: «Я слышал, завод будет поощрять передовиков, ветеранов производства, можно, в конце концов, и молодежь поощрить. Один из серии двухмиллионных автомобилей отдать, как приз, заводской красавице, мисс «Москвич-408». Хороший, партийный ход, Даздраперма Ильичична...»

– Ты и в самом деле рассказ на машинах написал? – жена всегда, когда беспокоилась за меня, смотрела куда-то поверх моей головы, словно бы вымаливала для меня поддержку свыше. Сейчас за моей спиной возвышался Йиржи Подебрадский.

Я чувствовал его, и вдруг сразу осознал и прочувствовал великую миссию памятников. Они, возвышаясь над всеми нами, продолжают дела тех, кого увековечивают. Я был уверен, что Подебрадский со мною, он за меня. Каждое утро, подойдя к нему, я здороваюсь с ним: «Добрый Дэ-э-эн, Ваше Величество!» – говорю я, восхищаясь его поразительной судьбой. Примеряюсь к нему: насколько же мы слабы духом.

– Да, написал, – ответил я. Мне и самому было лестно. Подумал, собрать бы все правые боковины уже давно отслуживших свой срок автомобилей, соскрести краску, отбить шпатлевку, прочитать мой рассказ. Вот он каков, оказывается, нетленен, хотя я и не помнил, о чем он.

– И как он назывался? – жена делала ударение на слове как?

«Кто его знает, – думал я. – «Девушка и арбуз». Писали же картины «Девочка с персиками». Почему же не быть на автомобилях рассказу «Девушка с вырезкой арбуза».

– Что тебе было за порчу машин?

Жена не знала, каким парнем я был в первой молодости, только догадывалась.

«Манжелка, какая порча?»

– Ничего, на следующий день в очереди в столовой мне приставили сзади, к спине, вилку алюминиевую, имитируя нож.

Я был окружен со всех сторон. Ребята, пахнувшие конвейером, его тяжелым потом, шутить не любили: «Тебе все понятно, джигит?»

В столовой, прямо напротив, сидела за столом незнакомка. Положив локти на стол, держа обеими ручками арбузную вырезку, впивалась зубами в ее мягкость, смотрела прямо на меня.

– Мне понятно! Но и вы должны знать. Если что случится со мною, вас всех казнят.

Конечно, это был блеф, опирающийся на наш имидж. Кто бы пошел мстить за меня? Но аргумент был веский. Слово сильное – казнь. Оно вдруг мне пришло. Да и не одинок я был в Москве, нас было двенадцать, я мог бы их позвать на помощь, но никогда бы этого не сделал. Чего подставлять друзей. Взял вилку со своего подноса, согнув пополам, пошел к незнакомке.

«Арбуз следует есть вилкой, не пачкать ручки. Вообще не пачкаться!»

Оставив согнутую вилку у нее на столе, я направился к конвейеру в цех.

«Даздраперма сказала – не трогать!» – услышал я вслед себе...

«И не трогайте, коль «паханом» вашим приказано!»

... – Все так и было, мадам, давай выпьем еще по глоточку, пойдем уничтожить старушку? Это она, с завода, и никакая там «нет, в середине!». Изящество ее подбородка морщины сгубили!

Чего всполошился? Будто найти эту женщину – дело жизни. Вспомнил, как она сидела, впившись в арбуз, взгляд отсутствующий, стеклянный. Такая она вдруг интересная стала.

– Найдем, вернем корень! А нам ничё чужо не на, у на сё е! – сказал я, четко ощущая за спиной всю статью памятника его Величеству королю Йиржи Подебрадскому.

Солнце спряталось за тучи, памятник Йиржи Подебрадскому, очень почитаемому мною королю, сразу помрачнел. Я вспомнил о Соколике. С самого утра, как только что-то связывается у меня с солнцем, мне вспоминался Соколик.

Я вытащил из кармана Соколика. Показалось, он был зол. Задышался в кармане. «Ведь было сказано тебе, Веисагушка, лучше хранить в соломе... » А ты?

В интернете в мифах о мандрагоре говорилось: хозяин корня мандрагоры для достижения богатства не должен расставаться с корнем, садиться вместе с ним за обеденный стол, выделять ему еду наравне с собой.

«Соколик, мороженого поешь? Красный шарик твой, я к нему не прикоснусь. Достану я тебе солому. Попрошу Наталью, она будет сегодня за городом, привезет пучочек, или мы сами с манжелкой соберем травки. Будешь жить в шалаше, как Генкин любимчик».

... Мы подходили к трактиру.

«Живи настоящим, оно будет все совершеннее, станет все более и более достойным твоих грез», – подумал я, ставя точку на прошлом.

В трактире музыка играла. Музыка была все та же – «Па-па па-ра-ра, пара ра...» и псина громадная та же, что была и утром. Гарсон был другой, с бравыми, закрученными кверху усами и заплетенной в косичку бородой. Я не почувствовал, что мы ему неинтересны.

– Мы пройдем вниз, к Эльбе, – сказал я, поставив перед фактом, как бы сразу обозначая: – «нам ничё не на!»

Гарсон понимал по-русски.

– Да, пожалуйста, оттуда замечательный вид на Эльбу. Внизу, под нами, она убыстряется.

– Нет, молодой человек, ничего не убыстряется. Река делает изгиб, возникает эффект углового ускорения.

Жена смотрела на меня, как на чемпиона мира по занудству.

«Манжелка, я просто контакт с молодым человеком налаживаю».

– Мы женщину хотим встретить, – в трактире было пусто, несколько мужиков сидело в зале, во дворе трактира никого не было, только официант и собака. – Непонятно, стара или молода. Она была здесь утром, к реке спустилась, пропала. – Я говорил ему в надежде, что официант что-нибудь да скажет о ней.

– Фиби, что ли? Она вдоль реки в замок ходит. Бывает здесь иногда по утрам. Говорят, мандрагору выращивает. Раздает людям, на кого глаз положит. – Официант испуганно обвел взглядом трактир. – Вы спускайтесь к реке, хотите, я вам пива туда принесу?

Мне так захотелось снова сливовицы. Все прошедшее за день упразднилось, я снова оказывался в сегодняшнем утре, и музыка Доброго Дня вновь звучала в моей душе. Чутьку изменившись, она делала крен на извороте, приобретая угловое ускорение. Я знал, что необходим небольшой импульс, она получит дальнейшее развитие, зазвучит по-новому.

«Гарсон! Сливовицы!» Пусть даже не выпью, даже не попрошу, просто подумаю, и это уже будет действие, которое обязательно повлияет на мою музыку.

– Молодой человек, а у вас брага бывает? – спросил, усаживаясь за обшарпанный стол. Полагая, что нет ее, конечно, это питье российское.

– Есть, – ответил официант, – замечательная бражка, изготовленная по старинному рецепту из замка. Нести?

– Конечно! – я посмотрел на жену: «Манжелка, это эликсир жизни!» – молча сказал я жене по-азербайджански. «Джан горуюджуды!»

– Сколько, кружку, две? – спросил официант.

– Одну.

– Вы хотели к реке пройти, спускайтесь, я вам туда принесу.

... Серая Эльба и вправду убыстрялась. Только непроходимому зануде пришлось бы в голову про угловое ускорение. На душе стало неуютно. Захотелось крикнуть в шум реки. «Эй-ей-ей-эй», – закричал я, кричал сдержанно, как бы в себя, мой голос спешил вдогонку Эльбе.

Мы и в детстве, в Габале, поднявшись на вершину высокого холма, к истоку родника, где он бьет ключом из-под земли, оглядывая габалинские горы, стелющиеся под нами, кричали. Кричали все: и отец, и его друг, и дети друга, и я, мой младший брат, сумевший подняться вместе с нами. «Эй-ей-ей-эй!» И все же были мы сдержанны, не полностью отдавались крику, видимо, такова наша азербайджанская природа. Но она также искренне, по-нашему, по-азербайджански, желала всем Доброго

Дня. Этот всплеск наших душ должен был найти свое отражение в увертюре подебрадского Доброго Дня.

– Ты чего кричишь? – жена дергала меня за руку. – Смотри, там, у самого берега, собака мертвая.

Застывший оскал мертвой таксы Фиби пялился прямо на меня. Вдруг стало жалко моего знакомого, хозяина таксы, вспомнил, как он преодолевал этажи своего дома, останавливался на каждом этаже отдышаться, вспомнилась его такса, противная злючка, исправно исполняющая свой собачий долг: злобно лаять и не лениться с приплодом.

– А вот и ваша бражка, – официант спешил, спускаясь на полусогнутых ногах. Иначе, наверное, и не спустишься.

– Там собака мертвая! – жена моя ждала от официанта каких-то действий.

– Я уже вызвал катер береговой службы, приедут, заберут.

– Куда? – спросил я, будто мне было суть важно, куда повезут Фиби.

– Не знаю, в крематорий, наверное.

Я протянул официанту 100 крон. «Гарсон, 100 крон. Нет, это не рифма!»

– Сдачи не надо! Молодой человек, утром я здесь солому оставил. Не сохранилась ли случайно?

– Рапс мы высушили, знали, что вернетесь.

– Почему?

– К нам все возвращаются!

Это было правдой, в Подебрады мы уже во второй раз, даст Бог, приедем еще не раз.

Я не успел допить свою брагу, как из-за поворота реки появился катер береговой службы. Это был ностальгический для меня катер с широким реданом. Шел против течения, рассекая волны Эльбы, лихо развернулся, направился к берегу, прямо на Фиби. Матрос с багром в руке поднялся на редан, чтобы зацепить им таксу, затащить на борт.

Мы с женой и не заметили, как с противоположной стороны изгиба реки выплыл на полном ходу, раскинув свои паруса-крылья, большой, гигантский лебедь. Он смело шел на катер, не позволяя подойти к берегу, отгоняя его назад. Я никак не мог объяснить агрессивность птицы, разве лишь тем, что на берегу она высиживала потомство.

Я снова был на похоронах собаки и снова пил брагу, как в первый раз. Может, это было веление покойного Генки. Эта мысль только мелькнула, я отделался от нее, нет Генки – и все, забыли! Посмотрел на жену. Она держала меня за руку, напряженно следила за противостоянием катера с лебедем. В кармане ерзал Соколик. «Потерпи, сосед, скоро укутаю тебя в солому».

Не хотелось думать ни о чем мифическом, придумывать что-то, кроме того, что видел. Лебедь действительно был и гнал прочь от берега катер. А то, что лебедь – это душа, душа всех, кто знал таксу, душа Ёшки и даже душа моего знакомого, хозяина таксы, может, и моя – это стилизованная под лирику мистика. Подобная лирика позволяла подумать о старце Хароне, приехавшем за очередной душой. Ее можно было привязывать к чему угодно и к кому угодно, но себя я исключал, допускал старца Харона лишь к тушке таксы, выдернувшей Соколика из грядки. Откуда, если не из грядки, раз уж Ешка выращивала мандрагору. Для меня был только факт: «Лебедь гнал катерок!» Все. Жаль, что катер был с реданом.

... На следующий день я проснулся до зари. Соколик лежал в спальне на широком подоконнике, укутанный в рапс. Я уже не беспокоился, что солнце ему может навредить. Как травянистое растение, Соколик-мандрагора был в своей стихии, в траве.

– Добрый Дэ-э-эн! – пропел я мысленно Соколику. У меня получилось мелодично. Солнца еще не было, надо успеть встретить его на улице, – подумал я. Соколик, полезай в карман, в какой хочешь, в правый, в левый, теперь я от тебя защищен.

Женщина, приехавшая на тарантасе с ящичками с горшочками цветов, меняла показания на цветочном календаре.

– Добрый Дэ-э-эн! – я бодро поздоровался с нею. Сегодня она еще на один день приблизила меня ко дню рождения моего сына, спасибо.

– И вам всего доброго. – Женщина хорошо говорила по-русски.

Я уже отошел от нее, как пришло решение по Соколику: посадить Соколика в цветник. Как-никак, он ведь цветок. Уговаривал я женщину долго, уже солнце поднялось из-за памятника Йиржи Подебрадскому, цветочные часы показали шесть утра, и гном заколотил молоточком по шляпке гриба-мухомора.

– Разрешите его посадить, если не в цветы в календаре, то хотя бы в сквер к гномику. Он ведь растение, погибнет. Соколик волшебный, будет добро приносить отдыхающим.

Женщина только улыбалась, давно не встречалась с таким напором. «Ну, а коли я что решу»... стою до победного конца.

«Если бы корень не был похож на моего соседа?! Я бы не стал спасать его. Знаете, сосед мой знал то, что с нами затеют войну еще за два года до ее начала. Я не могу позволить, чтобы он погиб, не сказав мне, когда война закончится, позвольте, ханым, посадить его в скверике у гнома! Пусть растет со всеми чешскими цветами. Он приживется, будет под охраной городских властей и первым скажет, когда у нас война закончится, наступит мир». Я уставился на нее своим взглядом «Да Здравствует Первое Мая!».

Она молча дала мне лопатку. «Посади, сынок! Лопатку оставишь у гномика».

Не знаю, почему вдруг увидела во мне сына. Может, я уже помолодел, пока «вскармливал грудью» Соколика.

Соколика «похоронил» я глубоко, чтобы не каждая такса могла выдернуть. Запомнил место: метра два от гномика, наискосок по направлению к нашему отелю, Беллевью Тлапак.

Когда я выбрался из скверика, цветочные часы показывали двадцать минут седьмого. На календаре было шестнадцатое августа. Однако год был передвинут на целый век. «Ничего себе ошибочка вышла!»

Календарь показывал 2116 год.

«Эй! – крикнул я вслед уже отъехавшей женщине, – подождите!» Женщина на тарантасе увозила цветы вчерашнего дня. Она меня слышала, я был уверен, но не останавливалась. И уже отъехав довольно далеко, оглянулась. Я не видел ее ухмылки, но чувствовал, что она ухмыльнулась, будто знала про меня нечто большее, чем знал я. И опять откуда-то из моей молодости сверкнул взгляд. Он в последние дни неоднократно пытался проникнуть в меня. Он исходил от «девушки-старушки», Мартины из отеля, кассира подебрадского вокзала. Теперь смотрела женщина с тарантаса. Я даже увидел два его крепких, сверкающих на солнце, вонзившихся в меня луча.

– Подождите, вы ошиблись! – шептал я себе под нос. Посмотрел в скверик «Гномика-Соколика», и не смог найти место, где был закопан мною Соколик. «Как же так, – думал я. – Не может быть, куда он мог деться, земля там должна быть свежескопанная». Но все было заросшим травой, мелкими желтыми цветами, названия которых я не знал, календулой. Соколик потерялся. «Сокол, я найду тебя!»

Женщина с тарантаса отвернулась, на меня уже не смотрела, я почувствовал, как два лучика ее взгляда, угасая, постепенно рассыпались. Вспомнилось, что был два раза на моей памяти такой же лучистый взгляд. Первый раз, в раннем моем детстве, на одном из клановых посещений просмотра фильмов по телевизору. Мы собрались у родителей мамы, у бабушки с дедушкой, смотреть телевизор. Я вдруг почувствовал над головой два ярких, упирающихся в телевизор луча. Оглянулся, муж моей тети, пригасив лучи веками, приставил палец к губам, мол: «Тише!» Вновь весь ушел в экран телевизора. Он с таким интересом смотрел на экран, будто своим взглядом, двумя лучами-прожекторами, вытягивал нечто из телевизора в себя.

Потом, много лет спустя, уже на изломе страны, с таким же интересом, словно бы пытаясь что-то вытянуть, смотрела на меня столетняя бабушка друга моего детства.

... То, что бабушке Друга было сто лет, Веисага Ридан узнал случайно, уже после того, как ее не стало. В исполнительной власти поселка он увидел документы на дом бабушки Друга, домовую книгу. И Веисага с удивлением и не без удовольствия обнаружил, что Тете К-не было сто лет. Он никак не мог поверить. Вот они, сто лет, наяву. Ридан и не знал, как должны выглядеть люди в сто лет. Скорее всего, хорошо, заключил он, раз столько прожили. Словно назначенные Тете К-не сто лет были тайной, никто не должен был знать. И Друг, видимо, не знал, иначе бы не выдержал, сказал бы.

Тете К-не было сто лет, выходит, родилась она в 19 веке. Ридан мысленно перенесся в Казань, откуда была родом Тетя К-на. В молодости Ридан невольно вел летоисчисление от рождения Ленина, примеривая даты известных людей, событий к 1870 году. И к Тете К-не примерил. «Она могла видеть вождя! В Казани!». Теперь эта мысль не вдохновляла. Ридан отходил от летоисчисления по Ильичу. Вспомнилось, как Тетя К-на шла в войлочных ботах мелкими шажками по переулку, не поднимая головы. Независимая, ни на кого не смотрела. «Тетя К-на, я за хлебом, купить вам, а то пока вы дойдете?» – спрашивал Ридан, на ходу обгоняя ее. Ридан не мог не предложить помощь бабушке Друга. «Беги себе!» – отвечала она, не глядя на Ридана. Ридан и не помнил, чтобы она смотрела на него, кроме того дня, когда видел ее в последний раз, и еще однажды, когда ожидал в прихожей, пока Друг отобедает. Ридан сидел на стуле, слышал, как внук с бабушкой спорили, им было весело спорить. За окном ветер раскачивал ветви орехового дерева, свисающие из соседского сада. Падали уже созревающие орехи в почерневшей зеленой оболочке, Ридан пытался сосчитать их.

– Сначала суп, потом хворост.

Друг, как капризный ребенок, корчил рожицы, показывая, что ему не хочется есть суп. «Нет, суп!» – строго говорила Тетя К-на и, глядя на скорчившего рожицу внука, не выдерживала, начинала смеяться.

Она и Ридану принесла на тарелочке свежеприготовленный хворост. Горячий хворост с капельками еще неостывшего масла обжигал. «Попробуй, сынок», – улыбнулась Тетя К-на ямочками на щеках, поспешила назад к внуку, проследить, чтобы он съел еще одну ложечку супа. Ямочки на щеках были у всех троих ее внуков; у Друга, у старшего брата Друга и у сестры Друга, это она их ими наградила. На какую-то секунду Ридан вдруг увидел, насколько глубок ее взгляд, и глубина ее взгляда, прикрытая хорошим настроением, чувствовалось еще явственнее.

За неделю до этого Друг тоже приезжал к бабушке. Они как бы поменялись. Тетя К-на поехала в поселок Разина к сыну, а Друг – к ней на Кара-Чухур с ночевкой.

В этот день вечером должна была состояться свадьба дяди Ридана, всеми в семье любимого Миши-Махмуда. В жизни Ридана это первая свадьба, на которой он должен был быть. «Я там был, мед-пиво пил...»

«Может, медовухи попьем?» – предложил вдруг Ридан. Друг только удивился.

– Мне на свадьбу, но там вряд ли будет, как в сказках, мед да пиво. Выпьем по чуть-чуть медовухи?

– Как это?

– Возьмем водки, размешаем в ней мед.

Медовуха им не удалась. Наверное, надо было выпить сладкой водки, чтобы потом уже не возвращаться к этому варианту. Полстакана меда в водке не растворились. Пили по глоточку и словно закусили водку медом и игрой на струнных инструментах, кои были в доме бабушки Друга, запрещенной в те годы «Pretty Woman». Скрипка, гитара, контрабас. «Тра-та-та. Тра-та-та-та!» Друг учил Ридана играть на одной струне контрабаса эту великую мелодию. Ридану удавались эти несколько нот, после звучания которых на танцах в клубе обычно кто-то, блудивший моральные устои, давал команду прекратить, и гитарист эстрадного оркестра кара-чухурского дворца культуры с извиняющейся улыбкой послушно замолкал. Позже мелодия «Претти вумен по улице идет» очень хорошо бы легла на трактат Ридана «Перемещение женщины в пространстве», если его читать под музыку Элвиса Пресли.

Этот день с «медовухой» Ридану запомнился на долгие годы. И не только потому, что на свадьбу дяди он не попал, развезло, проспал до самого утра. Но еще и признанием Друга. Захмелевший Друг сообщил Ридану, что у его бабушки был пасынок, он не вернулся с войны. Это был сын ее мужа, дедушки Друга. И Тетя К-на всю жизнь чувствовала некую собственную вину, что пасынок не вернулся. Друг поделился своей тайной, взвалив груз на Ридана.

Всегда Ридан открыл калитку во двор Друга в поселке Разина. Два блеклых, переливающихся перламутром на закатном солнце луча, вспыхнув, смерили его всего с головы до ног. Тетя К-на, бабушка Друга, сидела в беседке в саду. За беседкой и справа, и слева к дальней ограде тянулись саженцы роз. Эти несколько шагов от калитки до беседки он шел под ее пристальным взглядом.

– Здравствуйте, Тетя К-на! Друг дома?

— ...

— Мама, идите ужинать, — это мать Друга звала свекровь.

В семье Друга все обращались друг к другу на Вы, и это Ридану нравилось.

— Как отец? — Тетя К-на смотрела прямо в глаза Ридана. Ридан сомневался, что она знает его отца, что даже видела когда-то. Все же ответил: «Хорошо». Ответил и тут же почувствовал, что делает что-то не то. Ему бы молчать, но он послушно отвечал на все вопросы, спроси сейчас она его о литературе или о его учебе в институте, он бы послушно стал рассказывать, как рассказал вдруг о соседском петушке, кричащем фальцетом, и то лишь только потому, что ему самому был интересен петух со столь необычным голоском. Ридан чувствовал, как взгляд бабушки Друга, войдя в него, шел куда-то в неизвестность. Он вдруг нашел объяснение тайне, поведанной ему Другом. И Тетя К-на почувствовала, что он знает о ней нечто большее. И если она своим концентрированным взглядом, силой мысли, оберегая в войну своего сына, «прошивала» пространство, входила из жизни в смерть, то теперь, расспрашивая Ридана обо всем на свете, цеплялась откуда-то из неизвестности за жизнь нынешнюю, нить от которой потеряла. Ридан видел: все, что он рассказывал, ее не трогало. Сделав еще несколько попыток ухватиться в Ридане за жизнь, она поднялась и пошла в дом. Её снова позвали. «Мама, вы идете?» — Она не отвечала, шла.

Уходила столетняя женщина, правда, об этом он подумал позже, когда узнал, что Тете К-не было сто лет. Повторись это вновь и будь у Ридана его старая кинокамера, он снял бы уход столетней женщины. Он был уверен, на это перемещение женщины в пространстве музыка «Претти вумен по улице идет» тоже бы удачно легла. Ридан подумал, что надо было дать Тете К-не зацепиться за жизнь...

...Я смотрел на дату на цветочном календаре. С веком ошиблись. «Ах, это, значит, ты, мандрагора, упрямыца! Ты меня сделала молодым, состарив на целый век. Я же тебя спас от высыхания! Эх ты, Сокол, Сокол!» Я даже не хотел искать глазами Соколика в сквере Гномика.

Мимо проходили подебрадчане: «Добрый Дэ-э-эн!» мелодично говорили мне. «Добрый Дэ-э-эн!» — ответил я, чувствуя, что мои пожелания придали звучанию высоту и патетику. Увертюра звучала гимном. Я дарил его полюбившемуся мне городу. Не знаю, положены ли по статусу городам гимны, но для города первого короля, для города Йиржи можно было сделать исключение. «Я дарю вам гимн, подебрадчане, только передать не могу, нет слуха!» Я шел с подебрадчанами, как подебрадчанин, мысленно желая всем Доброго Дня.

— Господа, регарде а ля гош, — говорил я на своем французском, — посмотрите налево, на календарь из цветов, на дворе новый век, примите с моими пожеланиями Доброго дня и пожелание Доброго Века!

Я шел со всеми, возвращался в гостиницу будить жену, сказать, что новый век на дворе, звонить всем родным, близким, знакомым, чтобы хоть коротко, пусть даже только на день, оказаться со всеми своими в новом веке.